

Юлиус Вольфенгаут

Черные воды Васюгана



Посвящение от автора:

Отцу, умершему в Карлаге,
и матери, умершей от голода в деревне Сталинке

ПРОЛОГ

Воспоминания — это единственный рай,
из которого мы не можем быть изгнаны.
Жан Поль

Мне 78. Я устал и расстроен... На северо-западе тонет чужое солнце и окрашивает небо пылающе-красным. «Будет ветер», — говорят в таком случае местные жители... 33 градуса в тени! Мог ли я себе представить, что в Сибири может быть такая непереносимая жара (в то время (!) она ассоциировалась у меня лишь со снегом и льдом)? Нагрелись даже внутренние стены нашего маленького бревенчатого дома! Мне снова предстоит бессонная ночь... Красноватые отблески наполняют комнату фантастическим блеском и заставляют убогую мебель отливать позолотой. Странные тени дрожат на раскаленной голой стене. На какое-то время я забылся, вглядываясь в них. В беспорядке проходят мимо размытые картины радостных и печальных дней, безмолвные фигуры кивают мне весело — а иногда задумчиво и с укоризной... Мой отец... Спокойного, серьезного взгляда его серых глаз я боялся больше, чем материнского нагоняя. Я чувствовал некий трепет перед этим вдумчивым честным человеком, который редко, очень редко, через легкое дыхание в шею — это должно было означать поцелуй, — проявлял свою любовь ко мне.

Когда-то существовал город, который назывался Черновиц (после войны его называли на украинский манер — Черновицы. — Прим. Е. Ш.)... В начале 20-х годов мы жили там на Мясницкой улице (Metzgerstrasse), немощеной, малооживленной. Из окна второго этажа я мог смотреть на большой заросший фруктовый сад, который тянулся до Французской аллеи (Franzosgasse), и когда мы — папа, мама и я — летом ужинали на балконе, вокруг нас порхали летучие мыши, привлеченные светом, — мама боялась их, — а из темного сада доносилось кваканье древесных лягушек. О, как визжали девчонки, когда мы, мальчишки, с лягушкой в руке гонялись за ними! Мы — это сын дворника Иоганчик Попович, я и на некоторой дистанции Сало Обервегер, который жил этажом ниже. У нас с Иоганчиком был «секрет» — вырытая в саду, хорошо замаскированная маленькая пещерка, в которой мы хранили гальку, болты, железки и прочий хлам, и сколько бы Сало ни пытался выведать нашу тайну, у него ничего не получалось.

Пан Богусевич, наш домовладелец, был раньше крупным помещиком и принадлежал к польской знати, к шляхтичам. Когда возраст стал поджимать, он обратил свое имущество в деньги, построил на них два больших доходных дома, а по соседству с ними — двухэтажную виллу. Мы, вшивые мальчишки, боялись неповоротливого человека со строгими чертами и грубым голосом, которым он подчас застигал врасплох, когда мы, сидя верхом на перилах, с быстротой молнии слетали вниз. Но его гнев быстро остывал.

Хуже сложились наши отношения с фрау Войтанович, которая жила на первом этаже и потому была невольной свидетельницей наших передвижений по двору. К сожалению, она совсем не разбиралась в спорте, и когда однажды мяч через открытое окно влетел в ее столовую, она не захотела принять во внимание, как мастерски наш вратарь сумел защитить ворота от углового удара. Хуже было то, что ее сынишка Любци (ласковая форма от Любомир) и его ровесник Рихард Цеттель, который жил на втором этаже напротив моей двери, время от

времени имели наглость выступать против нас, старших мальчишек; за это им обоим, в конце концов, пришлось устроить хорошую взбучку. На рев Любчика тотчас со стороны противника была выставлена тяжелая артиллерия: в дверном проеме показался господин Войтанович, учитель черчения в русинской школе, и угрожающе помахал корявой тростью. В этой рискованной ситуации мы решили, что «осторожность — это лучшая часть храбрости», и бросились удирать во фруктовый сад, где, надежно скрытые высокой травой, забавляясь, наблюдали за безрезультатной вражеской поисковой операцией.

Там же на первом этаже жил профессор немецкой гимназии Худечик, дочь которого, Херта, была выбрана первой королевой красоты Черновица. Мы этим ужасно гордились! По сравнению с Войтановичами профессор находился в более выгодном стратегическом положении, так как перед его окном расположился узкий дворик, засыпанный гравием и потому непригодный для футбола.

Этнический состав населения обоих доходных домов в процентном отношении приблизительно соответствовал населению Черновица в 1918 году (в порядке убывания численности): евреи, русины, немцы, поляки; меньшую часть составляли румыны, венгры, чехи. Для развития своей культуры большие этнические группы, признанные государством, имели свои школы, издавали газеты и владели народными домами. Еврейский дом — государственное здание, фасад которого был украшен четырьмя полуколоннами, — стоял на Театральной площади. Немецкий дом — светло-серое, напоминающее благородные дома патрициев здание, украшенное арками, стрельчатыми окнами и башнями, которые намекали на готический стиль, — находился на роскошной Господской аллее (Herrengasse); наискосок стоял широкий, но низкий дом поляков «Дом польски». Также в центре находился русинский «Народный дом», он стоял в Петровском переулке (Petrowiczgasse), недалеко от армянской кирхи.

Тяга к культурному самовыражению охватила и спортивную жизнь — в Черновице было четыре футбольных клуба: еврейский — он назывался «Маккаби», — цвет формы, само собой, был бело-голубой; немецкий «Ян», названный так в честь отца гимнастики (Фридрих Людвиг Ян (1778–1852) — немецкий педагог, которого немцы часто называют отцом гимнастики. — Прим. Е. Ш.), форма — совершенно верно! — черно-белая; русинский под названием «Довбуш»^{*}, форма была, конечно, желто-голубая; и, наконец, «Полония» — в традиционно красно-белой форме. Позднее добавился еще и румынский клуб. Имя ему выбрали без труда: он назывался «Воевода Драгош» в честь основателя молдавского государства в XIV веке.

Здесь и далее расшифровку сносок см. в конце книги.

Сложнее было с формой: с одной стороны, можно было взять цвета румынского триколора (синий–желтый–красный), но с другой стороны, эти цвета уже были использованы; сошлись, наконец, на сине-красном.

Стадион «Маккаби» находился далеко от конечной станции южного трамвая, и когда должна была состояться игра, было видно, как толпы болельщиков отправлялись туда; среди них был один черновицкий оригинал, «Красный Буби» (так его называли из-за цвета волос) — немного улучшенный аналог персонажа «Пепка-Прыгни» (из «Приключений бравого солдата Швейка»). За пару лей² он несколько раз кукарекал «Маккаби, вперед!» и затем ковылял дальше попрошайничать у кого-нибудь другого.

Румыны не стали ломать голову в поисках более близкого и лучше расположенного футбольного поля. Они просто выкорчевали южную часть великолепного Народного сада — и нашим сине-красным это, конечно же, очень помогло! А от сада кое-что еще даже осталось. Тем не менее, чтобы обойти это «кое-что», требовалось больше четверти часа, ведь австрийцы в свое время с мудрой предусмотрительностью разместили Народный сад на площади около 3000 гектаров. Чтобы быть справедливым к румынскому правлению, я должен признать, что содержание сада было образцово-аккуратным. Высокой похвалы заслуживает розариум, который располагался на круговой дорожке. Еще издали можно было вдыхать бесподобный аромат, а подойдя ближе, любоваться потрясающим видом кустов, тонкие стебли которых образовывали поразительные, круглой формы, усыпанные розами кроны.

Мы съехали с Мясницкой улицы и жили теперь в тихом Театральном переулке (Theatergasse), который вел к городскому театру, презентабельному, изысканно оформленному строению.

* Здесь и далее см. расшифровку сносок в конце книги.

Недалеко от театра, с западной стороны уже начиналась окраина города. Здесь начинался спуск с холма, и быстрым шагом где-то через час можно было выйти туда, где располагался Рош, пригород Черновица. Усадьбы с аккуратно побеленными домами, просторные сараи и конюшни, длинные овощные грядки и фруктовые сады — все здесь свидетельствовало о благосостоянии их владельцев. Тут жили швабы³, которые осели здесь в конце XVIII-го и в XIX веке, и теперь, как образцовые фермеры, снабжали город овощами, фруктами и молоком. Рано утром можно было видеть, как швабчанки, которых легко можно было отличить от других крестьянских женщин по их костюмам — светлая блузка, длинная темная юбка, — несли свои товары на рынок. Я всегда удивлялся, с каким изяществом они держали на голове тяжелый короб, подложив под него маленькую круглую подушечку, и упругими шагами, время от времени придерживая короб рукой, поспешно шли. «Я покупаю только у одной швабчанки», — имела обыкновение говорить моя мама, отмеряя полтора ока⁴ молока для стряпни. В известном смысле истинное значение слова «швабчанка» было размыто; оно стало синонимом чистоплотной, честной торговли.

Хижины, которые вы не строили...

(из Гете)

В начале XIX века Черновиц был еще маленькой неизвестной деревней. При австро-венгерском правлении он стал столицей королевства Буковина и совершил стремительный экономический рывок, а когда в 1918 году Буковина вошла в состав Румынии, это был уже хорошо отстроенный, с печатью немецкой культуры, опрятный город с оживленным транспортом и торговлей. «...Кофейни были местом встреч журналистов, художников и писателей, такие как „Кайзер-кафе“ (Kaiser-Café) на площади Елизаветы (Elisabethplatz), где подавался настоящий Pilsner в бочках и выкладывалось 160 (!) ежедневных газет... Жители Черновица были прямо-таки фанатичными читателями периодики. Прочтение больших венских, пражских и лембергских газет помогало им преодолеть тягостное чувство изолированности, которое в этом медвежьем углу империи Габсбургов... так легко могло возникнуть»⁵.

В самом Черновице издавались «Немецкая народная газета», «Утренний листок», «Черновицкая газета», «Восточно-еврейская газета», «Дни немецкого спорта».

Румыния начала свое правление с переименования всех улиц, переулков и площадей. По большей части скромные австро-венгерские обозначения были заменены на звучные имена. Из простой Мясницкой улицы получилась «Страда Михаи Когалничену»⁶, из Театрального переулка — «Страда Ион Громада», из городского Господского бульвара (Herrengasse) — «Страда Ианцу Флондор», из Главной улицы (Hauptstrasse) (там находился магазин моего отца) — «Страда Регеле Фердинанд»⁷, из лежащей в центре города Круглой площади (Ringplatz) — «Пьята Унирий» (Площадь Объединения). В резиденции епископа, импозантном кирпичном здании в мавританско-византийском стиле, расположился теперь митрополит.

Эти и другие изменения, которые пришли вместе с новым правлением, были нами, детьми, восприняты равнодушно: они либо лежали за пределами наших интересов, либо мы не понимали ясно их значения. Наша реакция на нововведения определялась более постижимыми и конкретными вещами — едой: она, как любовь солдата, проходила через желудок и была вполне позитивной. Конечно же, румынская кухня, которая переняла много тонкостей из восточного кулинарного искусства, «сломала» наше меню, довольно однообразно основанное на мясном рационе (чего дети обычно не любят), и порадовала долгожданным разнообразием. Вкусные, приготовленные из всех видов овощей, в том числе из баклажанов (в Черновице их называли «патлашелен»), новые блюда были для нас настоящим лакомством. А сладости! При мысли о «рахат ку апа» (разновидности жележных конфет) у меня и сегодня текут слюнки.

Как вскоре оказалось, кроме кулинарных новшеств, румынское правление принесло и другие: всеобщая румынизация — официальные посты в государственных учреждениях постепенно стали занимать эмигрировавшие румыны — и, как следствие, возникла повсеместная коррупция.⁸ Наш словарь обогатился словом «бакшиш» («взятка»), которое имело такую же волшебную силу, как слова «Сезам, откройся!» из сказки: двери и ворота в учреждениях открывались, позволяя жуликам и мошенникам проскользнуть туда и без труда обходить букву закона. И честные люди, чтобы воспользоваться своими законными правами, часто были вынуждены платить эту дань. В то же время изменилось положение национальных меньшинств, которые составляли большую часть населения Черновица. Задолго до того как я столкнулся с заграничным словом «шовинизм», румынские власти открыли мне смысл этого термина в полном объеме. В магазинах были вывешены объявления: «Говорить только по-румынски». «Когда памятник Шиллеру по инициативе новой власти пришлось убирать с его исторического

места и перевозить на тележке во двор немецкого дома, за этой эвакуацией следовала толпа с непокрытыми головами»⁹, как во время траурного шествия.

В школе нельзя было и слова сказать на немецком языке, даже на перемене! Нарушение запрета каралось исключением из школы на три дня. Стукачи среди учащихся встречались редко. Я помню одного бесспорного стукача, замкнутого, коренастого юношу с широким невыразительным лицом и мутными глазами. Он ни с кем не общался, посредственно учился по всем предметам, и мы не удивились, когда начальство назначило его старостой. Руководство школы нажало правильную кнопку, потому что в глубине его «я» дремало стремление к доносу, связанное, вероятно, с комплексом неполноценности. Теперь он мог возвыситься над нами. Он выпрямился, его глаза стали холодными, жестокими, и мы стали бояться его. «Я тебя запишу», — говорил он невозмутимо, конечно, по-румынски. Через какое-то время его сняли — причина этого была нам неизвестна; он снова съежился и затерялся в буднях.

Политическое и экономическое положение в стране определяли две большие партии — либеральная и национально-аграрная¹⁰, они составляли альтернативу правительству. Как только одна из партий выигрывала войну за власть, она тотчас назначала на влиятельные должности своих представителей, которые зачастую отменяли распоряжения и постановления, принятые прежним правительством, и объявляли новые (так во время одного законодательного периода в нашей школе итальянский язык был введен в качестве иностранного; в следующий период его отменили), и все эти новшества опять исчезали после очередных выборов правящей партии. Если что и было у них общего, так это плохо скрываемые шовинистические настроения.

В высшей школе царила *numerus clausus* (процентная норма (лат.). — Прим. Е. Ш.), который прежде всего был направлен против евреев. Антисемитизм, который до этого проявлялся в скрытой форме, был не без молчаливого одобрения высших кругов возведен к открытому признанию через правозэкстремистскую Куза-партию¹¹.

Кузистами в Черновице были в основном эмигрировавшие румынские студенты, которые чувствовали в себе призвание к колонизации вновь завоеванных земель и позиционировали себя как «народники». В своих национальных костюмах (белые неглаженные льняные брюки, поверх них такая же рубаха до колен, белый искусно вышитый жилет, отороченный мехом ягненка, а на голове высокая заостренная меховая шапка) они вызывающе вышагивали — лучше было не стоять у них на пути — и с подозрением смотрели на каждого, кто имел дерзость родиться здесь и чьи предки не придумали ничего лучше, как тоже здесь родиться и здесь же быть захороненными.

И еще одно унижение ожидало нас: новое правление шло в ногу с румынским плебсом, неизменными спутниками которого были жуткое сквернословие и брань, которые показывали, насколько хорошо эти люмпены разбирались в анатомии и физиологии гениталий. А когда они лихо закручивали свои тирады, наши обывательские чертыхания звучали на их фоне, как дружеский утренний привет. Тем не менее, я хочу здесь подчеркнуть, что советский плебс, да и верхушка бывшего Советского Союза, своим румынским партнерам при состязании в этой дисциплине дали бы сто очков вперед (в СССР считалось почти что хорошим тоном использовать этот «*voix populaire*» (глас народа (лат.). — Прим. Е. Ш.), причем это превосходство обуславливалось не столько разнообразием приемов, сколько интенсивностью использования: даже в непринужденную беседу — обычно без всяких на то оснований, так сказать, в качестве междометий — вплетались сочные ругательства¹².

Середина 20-х годов совпала с «фамусовской» идеей нашего изобретательного школьного руководства: все ученики должны были отныне носить хаки-униформу. Среди немногих, кто приветствовал это нововведение, были продавцы тканей и портные, для которых теперь наступило раздолье; мы, ученики, восприняли причуды наших менторов отчасти равнодушно, отчасти с молчаливым предубеждением. Однако одной униформой дело не обошлось: как вскоре выяснилось, у школьного руководства за пазухой имелось еще одно оригинальное новшество: нас должны были инвентаризировать! Каждому ученику присваивался номер, который аккуратно вышивался серебристой нитью на кусочке красной ткани, после чего в качестве украшения пришивался на левый рукав кителя и пальто. На шапке, так же из серебра, должны были стоять инициалы школы (в моем случае «LR2», сокращение от «Реальный лицей № 213»)¹³. Эти меры, как нам доброжелательно разъяснили, должны были помочь «выявить» и «идентифицировать» тех учеников, чье антиобщественное поведение вызывало раздражение общестности. Так мы и бегали теперь, пронумерованные, уже до самого выпуска, в постоянной опасности быть «выявленными». Но, к чести сказать, насколько я знаю, у нас в Черновице такая процедура «выявления» ни к кому не применялась.

На самом деле, все это не могло удержать нас от того, чтобы время от времени устраивать себе «утренний праздник» и прогуливать школу. На Круглой площади находился кинотеатр «Унирея» («Объединение»), название которого народная молва, переставив две согласные, превратила в «Уринею». В этом пользующемся дурной славой заведении показывали исключительно приключенческие и ковбойские немые фильмы, ведь он и был рассчитан на специальную публику — на подростков, которые во время киносеансов чаще всего просто прогуливали школу.

Праздники и торжества положено совершать по старинным, сложившимся ритуалам, и наша «Унирея», ожидая своих «празднующих утро» гостей, тоже ввела оригинальный обычай: перед началом сеанса владелец кинотеатра, господин Акерман, вместе с билетершей стояли на входе и лично проверяли наши сумки и портфели на наличие тыквенных семечек. Наивные! Очень редко им удавалось что-нибудь найти — сообразительные мальчишки проносили лакомство в шапках, в подкладке курток, во всевозможных тайных местечках...

Вот все заходят в длинный, низкий, тусклый зал. Пока светло, семечки трогать никто не решается: «мускулистая» рука билетерши сразу отправит нарушителя на свежий воздух, но как только свет гаснет, отовсюду начинается раздаваться треск, и шелуха от семечек безостановочно сыплется к ногам, как осенняя сухая листва.

На экране появляется предфильм. Горе, если это не комедия с Зиготто или Гарольдом Ллойдом, а скучные съемки природы. Топот и пронзительный свист — заслуженный ответ на подобную дерзость. Наконец начинается главный фильм! Вот он, наш герой, наш идол — Гарри Пил, защитник всех обиженных и гроза всех злодеев! А те двое, рябой и одноглазый, что прячутся в извилистых переулках, мне совсем не нравятся: они что-то замышляют. Вот немощная старушка умоляет Гарри о помощи. Он обещает помочь и спешит выполнить обещание... Она насмешливо смотрит ему вслед. Ясно, я догадался: старушка — переодетый бандит! Вот Гарри входит в полуразрушенную мельницу, куда заманила его эта змея. «Гарри, не ходи!» — кричит кто-то с задних рядов. Ах, слишком поздно! Гарри отбивается как лев, двое уже испустили дух, но перевес сил слишком большой... Он лежит связанный, неподвижный. Неужели они собираются его заморозить? Гарри, бедный Гарри!.. Я украдкой гляжу на часы: еще пятьдесят минут игрового времени, это не может случиться так быстро... Но что они собираются сделать с ним? Ах, эти жулики! Они связали его толстой веревкой и подвесили рядом с большими стоящими часами, к минутной стрелке которых прикреплен острый нож. Сейчас свершится чудовищное злодеяние: как только пробьет три четверти девятого, нож перережет веревку — и Гарри — о, бедняга! — упадет в глубокую бочку, на которой написано «порох»... Бандиты смотрят на своего заклятого врага: он должен их умолять! Он должен претерпеть тысячекратный страх смерти, прежде чем распадется на атомы! Они кидают на него злорадные взгляды и, издевательски посмеиваясь, удаляются...

Стрелка движется неумолимо, безжалостно... Вот она приближается к роковой девятке... Гарри в отчаянье дергает веревки, оковы немного слабеют, вот он освободил большой палец и указательный, но нож уже скользит по веревке... Мертвая тишина в зале. Прекращается даже треск тыквенных семечек. Веревка держится уже на нескольких волокнах... Спасения нет! Я закрываю глаза. На все Божья воля, мой рыцарь без страха и упрека! Никогда больше ты не совершишь на экране свои дерзкие подвиги... Вдруг — ряды взорвались от радостного крика! За мгновение до того, как нож разрезал последний волосок веревки, наш Гарри нечеловеческим усилием вывернулся и крепко ухватился за верхний конец веревки. Вот он подтягивается наверх... Ликование без границ!

А бандиты празднуют и наслаждаются победой в прокуренном трактире: Они упиваются своим триумфом! А ну, погодите, псы, сейчас вы почувствуете! Оп-ля, он уже напал на них, наш Гарри! О, как он их уделал! Как радостно бьется сердце в груди! Одного из злодеев он вниз головой отправляет в чан со щелочью, тот только дрыгает ногами! Одноглазый, держа зубами нож, подкрадывается сзади, набрасывается — Гарри едва успел заметить! — и получает свое. И с другими он тоже быстро покончил.

Все? (Я смотрю на часы: еще пятнадцать минут.) Нет! Ведь есть Она, любимая, блистательная, та, что томится в плену и которую нужно спасти. Гарри вскакивает на своего благородного гнедого коня, а затем Фоксл, верный терьер, берет след. Два охранника застрелены моментально, и вот уже Она с блаженным смехом падает в руки Гарри. Долгий, долгий поцелуй... (одобрительное чмоканье в зале). Крупный план: Фоксл, верный терьер, смущенно склоняет породистую голову. Конец.

Взволнованные, раскрасневшиеся, мы покидаем зал. Перед внутренним взором еще раз проходит пережитое. «Как он дал ему в зубы, этому негодяю!» — говорит восторженно худенький конопатый мальчишка. «Он не должен был верить этой старухе, я сразу знал, что она заодно с бандитами», — слышу я вокруг себя голоса. Иногда доходило и до ссоры: кто круче — Гарри Пил или Эди Поло? — вопрос, который, нас, мальчишек, разделил на два лагеря. Свой голос я решительно отдавал в пользу Гарри Пила: мне импонировал этот благородно-небрежный тип, то, как он высоко вскидывал левую бровь.

Я свернул в переулок Лилий (Liliengasse, какое изящное название), до двух часов я мог не показываться дома, — вдруг кто-то громко окликнул меня: «Бубци!» «Бубци» было моим прозвищем в детстве; когда я повзрослел, меня стали звать «Вольфи». Удивленный, я обернулся: Йоханци! Мой Йоханци с Мясницкой улицы! Йоханци тоже следил за приключениями Гарри и находился во власти его чар. «Он бросил его в бочку, как котенка!» — захлеб рассказывал он. Я не мог сдержать улыбки. Эта фраза напомнила мне лаконичные высказывания нашего учителя рисования, поляка по происхождению. Некоторым юношам из обеспеченных семей пан Кратохвила давал индивидуальные уроки рисования, среди них был и я: мои успехи, к сожалению, — он задумчиво кивал головой, — оставляли желать лучшего... Проще говоря — это было вымогательство, но я с удовольствием ходил к нему на уроки, ведь он действительно был талантливым художником, а «искусство идет за куском хлеба». У других получалось еще хуже. Все-таки он нас, шалопаев, кое-чему научил, и я немало удивлялся каждый раз, когда он двумя-тремя штрихами наполнял жизнью мой несуразный рисунок. Однажды днем, когда мы со своими задрапированными масляными картинами пришли в мастерскую, он встретил нас в мрачном настроении. Пани (по-польски «дама») нашла свой портрет недостаточно лестным, объяснил он нам. А затем на ломаном немецком, острым взглядом художника оценивая самобытность этой быстро разбогатевшей дамы, угрюмо добавил: «Ее рот похож на куриную задницу». Оригинальнейшее сравнение, это звучало так красиво! Мы расхохотались, и лицо пана Кратхвила просветлело.

Двадцать лет интенсивной румынизации не смогли вытеснить немецкий язык из разговорной речи. По-прежнему использовались немецкие названия улиц, зданий и учреждений: прогуливаетесь по Господской аллее (Herrengasse), идете по Новомирной аллее (Neue Welt Gasse) до улицы Трансильванишг (Siebenbürgenstraße), делаете покупки на Мучной площади (Mehlplatz), ведете переговоры в Ратуше (Rathaus), посещаете кино в Старом городском театре (Alten Stadt Theatr), сворачиваете на Русскую улицу (Russische Gasse), в ресторанном дворике Фридмана смакуете «Erdbeeren mit Schmetten» (Землянику со сливками) и обедаете, если можете себе это позволить, в «Schwarzen Adler» (Черном орле) на «Raumplatz» (Круглой площади); заимствования из австрийского «Kukuruz» вместо «Mais» (кукуруза), «Ribisel» вместо «Johannisbeere» (пиво), «Stiege» вместо «Treppe» (лестница), «Erdäpfel» вместо «Kartoffeln» (картошка), «Schmetten» вместо «Sauerrahm» (сметана), «Paradeiser» вместо «Tomate» (помидоры), «Karfiol» вместо «Blumenkohl» (цветная капуста), «Servus» как веселое приветствие, «ich bin» (вместо «habe») gesessen/gelegen/gestanden — и множество подобных примеров показали полную готовность черновицкого диалекта к принятию иностранных слов, в основном из русинского (украинского) — «борщ» вместо «Rote Rüben Suppe» (красно-свекольный суп), «галушки» вместо «Kohlrouladen» (оладьи из капусты), «бурлак» вместо «Rowdy» (хулиган), «баба» вместо «Alte» (старушка) — и частично из румынского — «мамалыга» вместо «Maisbrei» (кукурузная каша), «карнатцен» вместо «gewurzte Flöischklosse» (пикантные фрикадельки). Не обошлось и без влияния идиша: к примеру, вместо «schön» (красивый) произносили «шеен», вместо «müde» (усталый) — «миде», вместо «heute» (сегодня) — «хайте», «er/obern» (покорять) и «Ver/ein» (союз), как «e/robern» и «Ve/rein». Глагол «spielen» (играть, применительно к детской игре) стал употребляться в возвратной форме: «Otto spielt sich im Hof» (Отто играет во дворе).

Для нашего местного населения немецкий язык — как диалект — до роковых сороковых годов был связующей нитью, которая, несмотря на этнические трения, объединяла, связывала разные национальности. Своеобразие, которым обладал немецкий язык в Буковине, делало его уникальным немецким языковым островом. Он затонул, как Атлантида.

Это было, если мне не изменяет память, в мае 1940 года, когда Эрнстл[†] пришел ко мне. «Розл[‡] приглашает тебя на вечер, в 7 часов, — сказал он и добавил, увидев мою

[†] Эрнстл Катц в 1944 году, после возвращения Северной Буковины, был призван на военную службу в Красной Армии, воевал на Восточном фронте, был ранен под Ригой. По окончании войны переехал в Румынию; умер в начале 70-х.

нерешительность. — Без шуток. Придут...» Он перечислил. На лестнице он еще раз повернулся и крикнул мне: «Это будет прекрасный вечер!»

Мы сидели вокруг длинного стола: Розл, Яша[§], Анни^{**}, Эди, Дита, Юлко^{††}, Эрнстл... В граненых стаканах красным поблескивало мускатное вино. Юноши вели себя активно, девушки время от времени тонкими пальчиками отправляли кусочки торта в рот. Эди был в ударе, и мы бесконечно смеялись над его неподражаемыми историями. Около десяти вечеринка была в разгаре: мы перебивали друг друга, Яша стучал по клавишам рояля, девочки визжали. Мы так и не выяснили, кто опрокинул бокал вина. «Пятен не оставлять!» — крикнул Эрнст, задорно смеясь, когда красная струйка побежала по скатерти.

Было жарко. Юлко распахнул окно, и в комнату ворвался прохладный, влажный после короткого дождя ночной воздух. Несколько разноцветных свечек, которые украшали наш стол, потухли от порыва ветра. Девочки вздрогнули. Они были красивы как никогда, у них в глазах отражались темнота и обещание.

Немного подвыпивший Эди прорычал: «Я хочу быть похоронен на Кавказе!» Провидение вяло его словам, вот только компас сломался, и могила его оказалась на востоке дальше, чем он того хотел, и значительно северней. Но об этом потом...

Кто-то загорланил:

«Там в изобилии будет вино,

Но нас уже не будет давно,

И будет там много девиц молодых,

Вот только нас не будет в живых...»

Это был действительно прекрасный вечер.

Между тем судьба шла за нами тяжелыми шагами. Но мы их не слышали.

[‡] Розл, его сестра, вышла замуж за адвоката, эмигрировала в Германию (Дюссельдорф), рано умерла от рака легких, у нее осталась дочь.

[§] Якоф Шэффер, мой дорогой друг детства, с которым мы вместе ходили в начальную школу, после прихода Красной Армии (1944) был направлен в Северную Буковину в качестве главного инженера лесопильного завода и поэтому был освобожден от военной службы. В рамках обмена населением в 1947 году уехал в Румынию, в 1969 году со своей женой Лолой уехал в Германию (Оффенбах на Майне). Оба здесь работали. В марте 2001 года Яша после тяжелой болезни умер.

^{**} Анни Шварц была в то время прехорошенькой черновицкой девушкой, вышла замуж вскоре после начала войны. После оккупации Северной Буковины немецкими и румынскими войсками молодая пара была депортирована в КЦ в Преднистриевье. Оба, Анни и ее муж, были расстреляны.

^{††} Юлиус Готтесманн, мой сокурсник в Брно, после присоединения Северной Буковины к Советскому Союзу в 1940 году смог найти место инженера в северобуковинском провинциальном городке Вишнитц. После начала войны и поспешного вывода Красной Армии он и его жена были расстреляны солдатами наступавших румынских войск.

Подул легкий ветер, ставни заскрипели. Угрюмо и прозаично спустилась сибирская летняя ночь, исчезли все очертания и мерцания теней. В домах позади огорода засветились окна, диссонансом заскрипел громкоговоритель, и беспощадно жестокая реальность опять встала передо мной. Ее имя — ссылка.

УЛУЧШЕНИЕ МИРА В ДЕЙСТВИИ

Пускай же мир, который я не знаю,
Мне скажет, что произошло...

Шекспир

Агрессивная внешняя политика Гитлера в 30-е годы привела к значительной эскалации напряжения между Западной Европой и Третьим Рейхом. Попытки английского премьера Чемберлена спасти мир через политику постоянных уступок растущим аппетитам немецкой власти провалились, и чувствовалась неизбежность начала войны. Мы, жители Черновца, обеспокоенные происходящим, тем не менее вопреки всему имели смутное убеждение, что возможный военный конфликт вряд ли перекинется на Балканы. И в этом мы как буковинцы, с истинным венским легкомыслием и венской кровью, оставив все на Божий промысел, жили и любили, ссорились и снова мирились — совсем как в словах Мефисто: «Людишки не чувствуют черта, когда он держит их за горло». А черт явился на самом деле. Он пришел бойким военным шагом, тысячекратно размноженный, в образе красноармейца...

Опишем 1940 год; в Европе бушевала Вторая мировая война. Польша подверглась нападению еще в сентябре 39 года, и когда раздробленные польские части отчаянно отбивались от немецкого вторжения, славная Красная армия ударила в спину славянским братьям¹⁴. *Finis Poloniae* (Конец Польше (лат.). — Прим Е. Ш.). Вот содрогнулась Франция, ведь со своей осторожностью и моралью в политике она не была готова к войне и просто скатилась под немецкий панцирь. Однако звезды благоволили, и настал час, когда Советы пришли освобождать Бессарабию¹⁵. Между делом отняли у Румынии Северную Буковину¹⁶ — советский министр внешней политики Молотов, оправдывая эту аннексию, цинично назвал ее «компенсацией за эксплуатацию Бессарабии с момента отделения (1918) этой области от России». И вот мой родной город, прежний австро-венгерский Черновиц, который румыны переименовали в «Чернаути», 28 июня 1940 года, в конце концов, стал советскими «Черновицами».

У населения было три дня, чтобы принять решение: остаться или уехать в Румынию. Евреям, большинству жителей Черновца, было трудно сделать выбор: в Румынию идти было рискованно — там официально царил ничем не прикрытый антисемитизм, и каждый еврей воспринимался как замаскированный коммунист; к тому же весь транспорт, в том числе и поезд, был перегружен отступающими румынскими войсками и спасающейся бегством румынской элитой. О Советах, напротив, ничего не знали, потому что пограничная река Днестр плотно отгораживала Румынию от любой достоверной информации, и только слухи о какой-то загадочной стране свободы и равенства ходили по городу. Описанные в листовке кузистов «Дробленный камень» — смелое название напоминало марктовское «Журналистика в Теннесси» — известия о зверствах большевиков достигали скорее противоположной цели: явно из пальца высосанные репортажи воспринимались со скептической улыбкой. Если бы мы только могли себе представить! Действительность оказалась в тысячу раз мрачнее, чем наивно-неуклюжие пропагандистские сказки.

Новая власть, между тем, не теряла времени даром: первым и самым главным делом она посчитала сооружение памятника, который будет свидетельствовать о наступлении нового счастливого времени. У этого похвального стремления, однако, было существенное препятствие: в центре города, на Круглой площади (по-румынски «пятаунирии»), уже стоял построенный румынами памятник, который в свое время таким же образом напоминал счастливое присоединение Буковины к Румынии. (Нужно сказать, что буковинские евреи, несмотря на то, что венский бургомистр Лугогер (умер в 1910) в широких кругах провоцировал антисемитские настроения, оставались лояльными австрийскими подданными и позднее испытывали трогательную ностальгию по доброй старой монархии.)

Этот румынский памятник заслуживает отдельного описания: в середине дугообразного каменного основания стояла видимая издали бронзовая фигура румынского завоевателя, а рядом фигура прильнувшей к нему девочки — духовный образ Буковины. Фронтально памятник смотрелся хорошо, но зрителя, который не поленился бы его обойти, ждало маленькое

потрясение: за выпуклой наружной стороной цоколя, как продолжение патриотического мотива, обнаруживалась мощная фигура быка, который — как гербовое животное Буковины — затапывал австро-венгерского орла. De gustibus... (О вкусах... (лат.). — Прим. Е. Ш.) Так вот, новая власть этот памятник снесла: «Ведь все, что возникло, достойно погибнуть» — этому лозунгу большевики всегда неизменно следовали, — и вместо двухсторонней румынской достопримечательности был в prestotempo (Быстрый темп, итал. — Прим. Е. Ш.) выстроен обелиск из досок, покрашен серой масляной краской, имитирующей мрамор, и снабжен надписью. Залакированный деревянный обелиск — на самом деле лучшего символа нового порядка нельзя было и придумать. Позднее на этом месте был поставлен памятник основателю Советского Союза. «1952: маленький памятник Ленину помещен на маленький цоколь. Ленин, как всегда, смотрит сердито и потому сдержанно и театрально-сурово. <...> И она, ленинская рука, как отдание чести ушедшему немецкому прошлому, указывает на главный банк Советской Украины — требовательно, очень требовательно. Тут же родилась шутка, будто бы он, этот господин Ленин <...>, таким вот образом, настоятельно указывая правильную дорогу окружающим, говорит им: „Эй, парни, идите, взломайте этот банк, посмотрите, есть ли там вообще что-нибудь внутри, а то, что найдете, возьмите себе — оно по праву принадлежит вам!“»¹⁷ Этот памятник снесли в 1992-м.

Здесь я должен забежать вперед: ведь сооружение обелиска ассоциируется с другим, более поздним курьезом. В ноябре приближался большой праздничный день, и потому каждый должен был наполниться внутренним восторгом и увидеть радость этого события собственными глазами. На фоне энергичных песенок, что-то вроде «Все обновляет торжествующий Май, сердца наполняя свободой...», которые разрывали осенний день весенним настроением, прорывались энергичные призывы: «Перекрасим всё заново!» Под словом «всё» подразумевалось — упаси Боже! — не что-то банальное типа садового забора или скамеек, а ряд домов на главной респектабельной улице. Ведь через эту улицу, где магазин стоял на магазине, должно было пройти праздничное шествие, и потому здесь не должно было быть ничего, что могло бы омрачить чей-либо взор. Для проведения демонстраций черновицкие торговцы и без того во избежание штрафов содержали свои магазины в полном порядке: все жалюзи, двери, оконные рамы были выкрашены в солидный, сдержанно-коричневый цвет и вряд ли нуждались теперь в обновлении. Но возражать против покрасочной кампании владельцы магазинов не смели, ведь согласно диалектическому закону о переходе количества в качество, если владельцев было много, то потом могло не остаться уже ни одного...

Итак, пришло время покраски. И запас коричневой краски быстро был израсходован, в последующие дни магазины хозяйственных товаров были переполнены: усердные хозяева, которые друг к другу обращались «господин товарищ», хватались за любую краску, которую могли раздобыть. Через какое-то время магазины Черновица представляли собой необыкновенную картину: изумрудно-зеленые и яично-желтые, ярко-красные и сине-зеленые жалюзи чередовались друг с другом, и множество людей любовалось этой картиной, задумчиво глядя на контрастную игру цветов.

А власти посмотрели и сказали «добро».

ПОГИБЕЛЬ ПРИХОДИТ НОЧЬЮ

Но вернемся назад: Черновиц, июль 1940. Почти месяц прошел с момента присоединения к Советскому Союзу. Внешне в городе все было без изменений. Разве что только у пекарных лавочек начали выстраиваться маленькие очереди: наш чудесный вкусный черный хлеб вдруг стал дефицитом, и пекарям было дано указание выпекать больше белого хлеба и одновременно с этим из такого же теста лепить всевозможные кренделя, батоны, плюшки, которые своим разнообразием должны были создать иллюзию изобилия. Неприятности, привнесенные новым порядком (люди не без опасения стали посещать парикмахерские, где стало возможным — так это называлось — подхватить вшей), высмеивались и с вымученными улыбками принимались. Но в остальном казалось, что жизнь с ее суетой идет дальше по инерции — по старой колее, в привычном русле, и вряд ли кто-то догадывался, что стрелки на путях уже переведены. Магазины открывались и закрывались в обычное время, в «Гусином гнезде» («Гензахойфель» — название пляжа на реке Прут, видимо, заимствованное из венской жизни. Gänsehäufel — район Вены и одноименный остров на Дунае, искусственно намытый песком. — Прим. Е. Ш.) загорала «золотая молодежь», вечерами вдоль городских бульваров и аллей прогуливались парочки.

Тем не менее из-за некоторой неопределенности город находился под тяжестью гнетущей тревоги; взгляды менялись, что свидетельствовало о внутреннем напряжении людей, а смех звучал не по-настоящему. В фешенебельном отеле, где расположился НКВД (советская

политическая секретная полиция), все ночи напролет в окнах горел свет, и через задернутые шторы скользили силуэты фигур,двигающихся туда-сюда. Время от времени на улицах города можно было видеть экзотическое зрелище — конных военных, одетых в развевающиеся черные бурки, чье появление никак не способствовало поднятию настроения. Мой отец, владелец обувного магазина, выглядел озабоченно; и без того неразговорчивый, теперь он позволял себе бросить лишь пару слов о предположениях и слухах, ходивших в торговых кругах и не суливших ничего хорошего. Но все оставалось по-прежнему — до поры до времени. Этот свинцовый штиль был обманчив, как безмолвная, удушающая влажность перед взрывом бури. И она взорвалась.

31 июля 1940 года нас разбудил звонок в дверь. Перепуганные и заспанные, отец, мать и я наспех оделись; в глазок я увидел приветливое лицо нашего управляющего домом, который лепетал что-то невнятное. Я открыл — внутрь ворвались два сотрудника НКВД в униформе. «Сдать оружие!» — потребовали они от нас. Непонимание и просто недоумение, которое читалось на наших лицах, говорили сами за себя. Достойное сожаления ремесло, которым они занимались, способствовало знанию людей, и, видя перед собой три дрожащие фигуры, они уже не ждали сопротивления. Не обронив ни единого слова о цели своего вторжения, с хладнокровием, свидетельствовавшим об обширной практике, они приступили к делу. Один из них сел за стол, достал стопку разлинованных листов, не торопясь положил под лист копирку, в это время другой выгребал шкафы и ящики с нашим честно нажитым добром. Домашний обыск, однако...

Должен признаться, что после первого замешательства я постепенно успокоился, тем более что палачи не делали никаких угрожающих намеков. А за собой мы не чувствовали никакой вины. Возможно, это была обычная формальная процедура при новом порядке? И я стал присматриваться к этим двум. Униформа темно-синего цвета с узкими полосками красного в швах казалась нелепой и не располагала к симпатии. А лица! Подобные рожи забыть нельзя: блеклые, болезненные краски лиц, ввалившиеся щеки с торчащими скулами делали их чем-то похожими на волчьи морды, если бы не колющий взгляд — хищникам он не присущ: хищники нападают, когда их к тому принуждает голод; ненависть им чужда.

Между тем «слуги закона» заканчивали обыск, и у меня мелькнула надежда, что незваные гости вскоре покинут дом. Но оказалось, что главные зверства они припасли на самый конец: две из наших трех комнат были закрыты, и — кровь застыла у нас в жилах — они объявили, что уводят нашего отца. Я и мама, оставшись одни, были потрясены и раздавлены. Что все это значит? Отца забрали на допрос? Может быть, он должен в полицейском участке подписать какой-нибудь документ? С тревогой в сердце ждали мы искупительного звонка, чтобы заключить отца в объятия, но прошел час, потом еще один и еще — ничего. Каждый шаг на лестнице, каждый шорох в коридоре, каждый стук хлопающей двери заставлял нас вскакивать — ничего. Мучительно медленно двигалась часовая стрелка...

Рано утром я очнулся сидящим у пианино, с опущенной на руки головой — от изнеможения я задремал. Я вскочил — что делать, куда и к кому бежать? Мысли лихорадочно носились в моей голове, и тут я вспомнил некоего А., состоятельного торговца, который слыл салонным коммунистом. Это был один из тех снобов, который свою ничтожность пытался скрыть за высокопарными фразами, а нацепив приятную, марксистскую улыбку, любовался собой в роли спасителя. Однако он располагал так называемыми связями.

«Господин товарищ», немного заспанный, принял меня в элегантной пижаме; когда он слушал меня, на лбу у него собирались складки, он многозначительно кивал, переспрашивал... Я тотчас понял бесполезность своего визита. Был вечер, было утро, и опять вечер, и опять утро... Осознание моей полной беспомощности парализовало меня. Никто не мог ничего посоветовать, никто не знал, где находился мой отец.

Между тем накапливались слухи; многих «увели» в эти ночи. Через несколько дней слухи переросли в уверенность, кто-то сказал мне, что в городской тюрьме принимают посылки с одеждой для заключенных. И тут подвернулся случай. Освобожденный сокамерник моего отца (очевидно, вор, ведь отпускали из тюрьмы только уличных разбойников, аферистов и взломщиков, учитывая, с одной стороны, их пролетарское происхождение, с другой — силу их ремесла, направленного на подрыв капиталистического хозяйства, возвеличивая за каждое подозрение в антиправительственной деятельности и даже предоставляя некоторые привилегии¹⁸) нашел меня и передал, что отец просит теплую одежду. Он не знал, что еще рассказать, только то, что мой отец и в камере очень следит за порядком и каждый вечер перед сном педантично вешает на стул брюки... «Я должен здесь сидеть, покинутый, один..., и цепи рабства держат эти руки, которые я распростер над Майном», — эти слова из «Сафо»

Грильпарцера мой отец имел обыкновение задумчиво повторять дома, посмотрев когда-то эту трагедию в Вене в Государственном театре. Предчувствовал ли он свою судьбу?

На следующий день я отправился «на Голгофу» на городскую площадь, где находилась тюрьма — серое, вселяющее ужас четырехэтажное здание, чьи маленькие зарешеченные окна с пыльными стеклами высветили в моей памяти слова Данте: «Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate» — «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Перед открытым, недавно пристроенным к первому этажу окном стояла длинная очередь — братья, сестры, отцы, жены, сыновья, дочери тех, кого «увели», все со свертками в руках, молчаливые, несчастные. В окне сидел энкавэдэшник, как только я назвал имя, он начал листать что-то наподобие бухгалтерской книги и водить пальцем по списку имен, наконец кивнул и взял мою посылку. Я передал отцу старое меховое пальто и шерстяную шапку; новую хорошую шубу с воротником выдры и меховую шапку я хотел приберечь для отца к его возвращению домой. Этому не суждено было случиться. Шуба с воротником выдры, мой отец, мама и я уже никогда не были снова вместе.¹⁹

Тем временем дома мы получили пополнение. В двух комнатах, которые после обыска были закрыты, теперь разместились на постой два энкавэдэшника со своими женами. Были ли это те самые, что уводили моего отца, я не могу сказать, поскольку не различал их лиц — я запомнил только их взгляд. Захватчики заняли нашу столовую и нашу спальню, они спали на наших кроватях (в комнате, которую оставили нам, стоял диван, на котором спала теперь мама, я устроил себе спальное место на полу), использовали наше белье, наши столовые приборы и жрали из нашей посуды. Их бабы посматривали на нас пренебрежительно и почти с отвращением, как на париев, которым великодушно, скорее из фальшивого сострадания, оставили комнату. Примерно в девять часов утра они занимали кухню, готовили, жарили, и запахи подгоревшего бекона вместе с их крикливыми голосами разносились по всей квартире.

Все теперь было для нас чужим и диким в нашем когда-то таком тихом жилище: тупой удар, с которым они открывали дверной замок, свет, который оставляли ночью гореть в коридоре (платить за него должны были мы), громкие крики, которые были слышны рано утром, когда бандиты возвращались после проделанной «работы». Мама оставалась в комнате, напуганная и тихая, и решалась выйти на кухню только после того, как шумная компания покидала дом. Тем временем после долгих поисков я нашел место лаборанта, и оклад (около 70 рублей) позволил нам поддерживать существование. Мой руководитель по фамилии Пятин был — я признаю это охотно — доброжелательным и сочувствующим человеком, но судьбу мою и моей матери — а впереди у нас были испытания — он никак не мог изменить.

Так проходили наши дни, однообразно и безутешно. Все наши мысли крутились вокруг отца — никаких известий, никаких официальных уведомлений: казалось, нас окутала нереальная пустота. И тут я как-то повстречал своего студенческого друга из Брно Зигфрида Вендера^{##}. В свое время он, всегда элегантно одетый, заслужил пальму первенства за манеру уверенно держаться. Сейчас он был небрит, бледен и безутешен; его отец, владелец суконного предприятия, тоже был «уведен». Более активный, чем я, он сумел добраться до одного из тех, кто прибыл «оттуда» и теперь, как облако саранчи, опускались на нашу сытую Буковину. Этот субъект, представившийся адвокатом, вызвался за 200 рублей уладить дела наших отцов. У нас с мамой было тогда чуть больше 200 рублей (при присоединении за 3000 румынских лей давали только 300 рублей), и на следующий день я оказался в условленном месте. Товарищ адвокат — на вид довольно потертый субъект — засунул наши 400 рублей себе в укромное место и, бормоча на ходу что-то о том, что он готов начать действовать, начал от нас удаляться — больше мы его никогда не видели: это был один из тех стервятников, которые грели руки на несчастье других.

В это время у меня произошла еще одна важная встреча: на улице я встретил младшую сестру Люси Марту^{§§}. Даже теперь, когда в мой рассказ будет вплетено лирическое

*Зигфрид Вендер смог избежать депортации, после начала войны пережил позор Черновицкого гетто. Когда в 1944 году русские вернулись, он отправился в Румынию, потом в Израиль, в 1951 году переехал в Германию (Мюнхен), и, наконец, в 1986 году обосновался в Париже. Его отец из сибирских лагерей тоже не вернулся. Зиги — так звали его в дружеских кругах — умер в январе 2001 года.

§§ **Марта (Констанция) умерла в Чикаго в 1994 году в одиночестве. Ей на долю выпало пережить единственную дочь.

интермеццо, темнота повествования не отступит — интермеццо тоже закончится трагически, — но перед моим внутренним взором еще раз пройдут радости и печали, «страсти-мордасти» («Irrungen-Wirungen» у Ю. Н. — Прим. Е. Ш.) (я не нашел слова лучше) юной души, тем более что сюжет моего рассказа и интермеццо тесно связаны друг с другом.

ЛЮСИ

Судьба сдает карты, а мы играем.

Шопенгауэр

Когда я познакомился с Люси, ей было 19, а мне — 26. К этому времени у меня позади было уже несколько любовных интрижек. Самой длительной была связь с Элли, с которой мы были вместе три года. Познакомился я с ней на катке, она тогда еще училась в школе. Несмотря на то, что она была еврейкой, внешность у нее была нордической: светлые волосы, голубые глаза, пропорциональное сложение, нежные мочки ушей почти просвечивали, щеки «белы как снег, красны как кровь». Художник не мог бы желать лучшей модели для Мадонны. Конечно же, я с первого взгляда по уши влюбился. Зимой мы бродили по пустынным тропинкам заснеженного городского парка, и я целовал ее теплые губы, летом мы ездили в «Гусиное гнездо» на Прут — в купальнике она выглядела еще соблазнительней, и я целовал капли на ее мокрых губах. Мы томилась под прямыми солнечными лучами, а когда жара становилась невыносимой, бежали в тень под нависающие бетонные плиты — руины ипподрома, в которых было что-то сказочное и где мы чувствовали себя королевскими детьми.

Прошло два года. Элли отправилась в Прагу изучать медицину. Я продолжал учиться в немецкой высшей технической школе в Брно. Мы встречались только на каникулах, и постепенно моя любовная страсть охладела, ведь вслед за безупречной внешностью Элли на первый план все больше и больше выходила ограниченность ее натуры. Увлечениями Элли были пустые романы в манере Куртс-Малера и кино. Она не пропускала ни один сентиментальный фильм, а потом скучно рассказывала мне его содержание, не пропуская ни одной подробности: как он сел на шляпу, куда она положила сумочку... Слушать ее было для меня мучением, и хоть я и старался следить за рассказом, однако все равно терял нить повествования. А слова все продолжали извергаться из ее рта, и я мог надеяться только на то, что неизбежный хеппи-энд заставит ее хотя бы на время замолчать. В конце концов, я стал опускаться до подлой хитрости: в то время как она с горящим взором, вся под впечатлением от переживания жизненных и любовных страданий героев вела рассказ, я отпускал свою фантазию в свободный полет. Я не слушал ее вообще, думал о том о сем, мечтал с открытыми глазами и обращал внимание лишь на имена. Время от времени я встревал: «Да! А Рольф, что он сказал?» — «Ах, Рольф, — отвечала она с готовностью. — Он ничего не сказал, он только сжимал кулаки...» Я снова через некоторое время, осторожно: «Но Памела, она...?» — «Ах, нет, я тебе уже говорила, она просто оставила его стоять», — лепетала очаровательная куклолка.

Когда в наших отношениях стал намечаться разрыв, она предприняла все, чтобы меня удержать: у нее было разрешение на выезд в США — шел 1939 год, на политическом горизонте уже сгущались тучи, — и она предложила мне вместе с ней отправиться в Америку. И это заманчивое предложение я отклонил. Я плохо, очень плохо с ней обошелся. Да простит меня Бог, по-другому я не мог. Позднее до меня дошли слухи, что одна английская леди, которая в одном из пражских кафе была поражена красотой Элли, без лишней суеты забрала ее с собой в Англию. Надеюсь, что там она благополучно нашла свое счастье! Простила ли она меня? Свою вину я уже испутил...

Год спустя я познакомился с Люси. Она не была классической красавицей в прямом смысле слова — она была лучше: у нее был шарм, обаяние, чувство юмора; она была высокоразвитой личностью, по-мальчишески стройная, милая и грациозная, как «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Каштановые локоны обрамляли ее овальное, хорошо очерченное лицо, карие глаза часто игриво блестели и всегда были приветливы. Мы так хорошо понимали друг друга, так непринужденно общались! Ее близость делала меня счастливым, с ней я чувствовал себя беззаботным и всеми фибрами души тянулся к ней. Летом свободное время мы проводили в «Гусином гнезде» и вволю грелись на солнышке. «Сегодня моя мама плавала вместе со мной, ведь я опять надела „неприличный“ белый купальный костюм», — сказала она как-то раз и весело рассмеялась. В ее глазах я прочитал, что нравлюсь ей.

Люси заполнила все мое сознание; первый раз во мне зародилось глубокое, радостное чувство — это была любовь, которая основывалась на внутреннем сходстве; и в мыслях, и в чувствах мы были единым целым. Я понимал, что Люси ждет от меня следующего, важного шага. Но я колебался; будучи мечтателем и фантазером, я всегда старался откладывать принятие важных решений. Я не мог представить, как я, свежее испеченный инженер без крепкого положения, без отдельного жилья, должен буду обеспечивать нашу семейную жизнь. К тому, чтобы стать продавцом в отцовском деле — отец меня к этому никогда не поощрял, — я не имел ни навыков, ни склонности. Однажды я попытался заговорить с отцом про Люси; я спросил его, что он думает о семье Н. Отец был уставший, рассеянный и проигнорировал мой вопрос...

Так проходили дни и недели. Однажды, когда мы бродили по улицам, Люси сказала напрямую: «Послушай, я познакомилась с одним венгром. Ему, кажется, тридцать пять лет, но он хорошо выглядит, а еще он очень богат». Не придавая никакого значения ее словам, я небрежно ответил: «Зрелый молодой человек». Люси промолчала. Ах, я дурак! Только сейчас, через 50 лет, я пришел к осознанию, что в ее словах содержался немой вопрос: «Ты или он? Решай!»

До поры до времени в наших отношениях ничего не менялось; мы были вместе, купались в Пруте, я бывал у нее дома, где познакомился с сестрой Люси Мартой, худенькой девушкой лет шестнадцати. А между тем грозовые облака, нависшие над Европой, разрядились, и в 1939 году вспыхнуло пламя войны; в июне 1940 г. произошло присоединение к Советскому Союзу. Первые недели нового правления — это был, так сказать, инкубационный период — прошли незаметно. Еще не вышла наружу большевистская зараза с ее чудовищными мерзостями, и июльское солнце еще раз встретило нас, меня и Люси, в «Гусином гнезде», где мы снова небрежно валялись на травке и загорали. Люси позволяла себе некоторые острые замечания в адрес нового порядка, который у нас воцарился, и я восторженно внимал ее словам. «Когда тебя слушаешь, может показаться, что ты не коммунистка», — говорил я, весело взывая к ее совести. Она тихо смеялась.

В середине июля, во время одного моего визита к ней домой, я встретил «венгра». Я почувствовал досаду, когда увидел, как бесцеремонно он сидит на диване рядом с Люси. Мы были представлены друг другу. Лази Г. — так его звали — был среднего телосложения, у него были черные волосы, аккуратно уложенные, и для своих лет он выглядел неплохо. При этом он забавлял Люси оригинальным образом: высоко в воздух подбрасывал конфету и ловил ее широко открытым ртом. «Грандиозно!» — проговорил я, небрежно аплодируя. Люси казалась напуганной. Вскоре я распрощался. «Неужели она сама не видит, что он просто скучный клоун», — думал я раздраженно.

А потом все оборвала ночь 31 июля — домашний обыск, арест отца. Образ Люси угас во мне, и редко, очень редко ее милое видение переполняло меня — воспоминания, которым я не мог сопротивляться.

Была поздняя осень, когда я случайно повстречал Марту. Я рассказал ей об аресте отца; а потом, затаив дыхание: «Как дела у Люси?» — «Люси вышла замуж». Она своеобразно быстро произносила слова, как практикующий хирург, который хотел сократить мои страдания, и испытующе глядела на меня. Мое сердце пронзила боль, удар был неожиданным. «Передай ей мои наилучшие пожелания», — сказал я беззвучно и зашагал, как мне показалось, в пустоту. Совпадения продолжались: на следующий день по дороге к цветочному магазину (я хотел подарить Люси букет роз) я повстречал пару — Люси и он. Они шли, взявшись за руки, и глаза у них светились счастьем. Я поздравил их машинально. «Прощай, Люси, — подумал я, — и навсегда, теперь уже навсегда!»

Однако судьба распорядилась иначе. Я должен был увидеть Люси еще раз...

Для чего снова описывать однообразие и безнадежность тех дней? Никаких новостей от отца, никаких апелляций, которые могли бы помочь получить хоть малейшее разъяснение. Наконец у меня появилась идея: просто, без конкретного адресата, написать «Ходатайство в прокуратуру». И я получил ответ! Это жуткое, мистическое чудовище могло слышать! Мой отец, в соответствии с параграфом таким-то, был приговорен к семи годам лагерей — гласил лаконичный ответ. Милостивый Боже! Почему, за что? Когда состоялось слушание дела, почему нам ничего не сообщили? Что противоправного мог совершить мой отец за один месяц нового порядка?¹⁹ Да, его профессия — торговец, и для нее сейчас нет действующих правовых норм, но ведь закон может иметь обратную силу? Однако пасть чудовища уже захлопнулась и не издала больше ни звука. Мама и я были раздавлены. В доме царил гнетущее молчание. Мама

выглядела как оглушенная; она действовала, двигалась по инерции, как автомат, ее лицо было безучастным и ничего не выражало.

Только сейчас, когда я это описываю, я осознаю, насколько тогда — за редким исключением — изменилось ко мне отношение окружающих. Соседи по дому, которые всегда обменивались со мной дружескими приветями, знакомые, которые обычно охотно перекидывались со мною парой слов, стали избегать меня, как будто я стал заразным. На мое приветствие они отвечали застенчивым кивком головы и ускоряли шаг. В их глазах читался страх, они сторонились меченого — сын того, кого арестовали, может быть, даже «врага народа».

Границы между «можно» и «нельзя» постепенно стирались. Недозволенного больше не было. Закон, обычай, право, мораль — все было отброшено, и дозволенным стало все. Если рассуждать, то в основе наших действий должен лежать трезвый и ясный рассудок, но наше подсознание цепко держится за древний смысл понятий «можно» и «нельзя», и совсем еще не готово к понятию «все можно».

НОЧНАЯ ОБЛАВА

ПОГРУЗКА В ВАГОН ДЛЯ СКОТА

Прошел год. Начало июня 1941 года. По Черновицу вдруг поползли страшные слухи о предстоящей депортации. Я был встревожен, но разговорам верил мало и продолжал заниматься своей работой. Между тем слухи охватили город, словно пожар. Вечером 9 июня меня навестил мой товарищ по несчастью Зигфрид Вендер; он был явно взволнован и говорил быстро и убедительно. В грузовом депо стоят наготове сотни пустых вагонов, сегодня ночью планируется облава, он настаивал, чтобы я спрятался у родственников или еще где-нибудь. Скорее из чувства долга, чем из-за опасения, я и мама поздним вечером пошли к тете Регине, младшей сестре отца.

Тетя Регина вместе со своим мужем и детьми жила на втором этаже маленького старого дома, располагавшегося на тихой улочке городской окраины. На дорогу у нас ушел час; общественного транспорта в той части города еще не было, а мама шла медленно. Тетя Регина приняла нас радушно и участливо; нам приготовили спальню с двумя кроватями. Утром — ночью все было спокойно — мама отправилась домой, а я, отдохнувший и беззаботный, — на работу. Но когда я пришел домой на обед, мама была очень встревожена: тетя Джени, которая жила рядом, рассказала, что произошло, — по ее словам, ночью нас искали! Надо же! С тяжелым сердцем зашагал я обратно на работу (прогулы наказывались!), до конца рабочего дня я продумывал варианты, как же нам запутать следы. Наши сердца бешено колотились, когда вечером мы снова пришли к тете Регине. Что с нами будет?

Летняя ночь опускалась на город, нежно затушевывая улицы и переулки. Мало-помалу гасли огни в окнах, становилось тихо. Время от времени в аллеях слышались шаги поздних прохожих. Как же я любил эти летние ночи, когда был маленьким мальчиком! Вот через открытое окно ночной ветер мягко касается лба! Вот одинокий фиакр трясется по каменистой мостовой, и стук копыт — цок-цок! Цок- цок! Цок-цок!.. — постепенно затихает вдалеке! А чувство защищенности — мама и папа здесь, рядом в комнате, — так приятно меня убаюкивает!

Почему именно этой ночью так навязчиво меня охватили впечатления детства? Было ли это внутреннее предчувствие неизбежности — прощание навсегда со всем тем, что я любил и чем дорожил и что так ясно высветилось в моем сознании?

Спал я беспокойно; слышался далекий шум грузового автомобиля; он приближался, становился все громче и... затих у нашего дома. Я затаил дыхание. Они снова были здесь, совы ночного промысла, два бандита НКВД, в неизменно сине-красной униформе. Грубо: «Одевайтесь и на выход!» Они доставили нас домой и были столь великодушны, что дали нам полчаса времени на сборы. В жуткой спешке мы брали с собой самое необходимое: прежде всего я собрал документы — школьный аттестат, диплом и прочее; потом побросали одежду, белье, обувь в два чемодана (в суете от двух пар лыжных ботинок я взял два левых ботинка, и что интересно, в дальнейшем я часто носил их безо всякого дискомфорта и, в конце концов, износил); подушку, стеганое одеяло и всё, что кроме этого мы смогли взять, всё завязали в узлы.

Непонятно, как моей маме, полной женщине с больным сердцем, удалось — не без моей помощи — поставить ногу на колесо грузовика и перевернуться через борт машины. Товарная

станция находилась в нескольких километрах от города, и дорога туда длилась около получаса. Прибыли, нас высадили на плохо освещенную платформу, где мы смогли различить бесчисленное количество товарных вагонов типа «8 лошадей или 40 людей». В один из таких вагонов нас и погрузили. Через узкое высоко расположенное окошко внутрь вагона падало немного света, и мы постепенно стали осматриваться. Мы были здесь не первыми: дюжина несчастных — женщины, мужчины, дети — сидели на корточках, на чемоданах, на баулах; лавок для сидения не было. Единственной мебелью было деревянное ведро, запах от которого не оставлял сомнений о его предназначении.

Как впоследствии выяснилось, от депортации в Черновице пострадали исключительно евреи: немцы — около 70 000 из советской Северной Буковины²⁰ — еще в 1940 году предусмотрительно были переправлены в Рейх, румыны спаслись бегством на свою прародину в начале вторжения советских войск, русинов не трогали, по-видимому, из-за их этнической принадлежности к украинцам; оставались только евреи, которые во все времена, для любых целей были подходящим материалом и всегда были в наличии.

Время от времени мы получали пополнение: железная дверь вагона с грохотом открывалась, и новая партия изгнанников попадала внутрь. Всю ночь слышались жалобы и стоны: некоторым семьям ничего не позволили с собой взять, они были в полном отчаянии и без конца рассказывали о том, как были схвачены. Другие переживали о близких родственниках, которым разными способами удалось скрыться и судьба которых была неизвестна, — увидят ли они снова друг друга? Все были взвинчены и встревожены. Снова и снова: «Что с нами будет?» Одно предположение сменяло другое.

Между тем настал день. Перед вагонами собралось множество мужчин, женщин, детей (очевидно, светобоязливые сотрудники НКВД не осмеливались при свете дня препятствовать толпе при входе на товарную станцию). Люди пришли попрощаться со своими близкими, многие принесли вещи для них. И нашим несчастным, которым не разрешили с собой ничего взять, наконец, с опозданием через маленькое окошко впихнули одежду, белье, домашнюю утварь. Считавшиеся потерянными члены семьи «нашлись» еще ночью, железная дверь громыкала, и их вталкивали к своим.

Я напряженно всматривался, выглядывая из окошка, надеясь увидеть кого-нибудь знакомого. Вижу, тетя Регина и ее дочь Селма пришли! Добрая, хорошая тетя, она проделала пешком долгий путь. Она принесла нам маленькую подушку и еще какие-то вещи, плакала. Толпа людей непрерывно тянулась вдоль вагонов, возбужденная, потрясенная, отчаявшаяся. Тут и там кричали в окна — спрашивали, кто здесь находится, не знаем ли мы, куда поместили того или другого.

Удрученно и рассеянно скользил мой взгляд по толпе. И вдруг — я не поверил своим глазам: перед нашим окошком стояли Люси и Марта!

— Люси! — закричал я, и мой голос дрогнул; я прижал свое лицо к решетке окна.

Она взглянула вверх.

— Вольфи, и ты тоже?! — закричала она, и слезы полились из ее глаз.

Мучительная пауза...

— Так лучше, Люси, — сказал я, наконец, и попытался выглядеть спокойным, но сердце у меня в груди бешено колотилось. — Возможно, я найду своего отца.

Она обхватила руками лицо и не сказала больше ни слова. Потом она протянула мне свечку и еще что-то. Я велел им идти... Прощай, Люси! На этот раз навсегда... Значение слова «тоже» в ее крике открылось мне только через полвека.

Проходил год за годом. Я бродил по сибирским сугробам, и мороз щипал мне лицо. Я вброд переправлялся через болота, и комары до крови кусали меня. С грузом за спиной тащился я по пыльным улицам, жара иссушала меня. И все же снова и снова — и тогда, и сейчас — ушедший мир юности оживает перед моим взором, и Люси стоит передо мной. Даже сейчас я, уже давно старик, слышу ее голос, ее тихий смех, смотрю в ее карие озорные глаза.

Томск, декабрь 1990 года. Я в гостях у Маргит Ф^{***}, тоже сосланной из Черновица. В то далекое время она жила по соседству, и я знал ее еще маленькой девочкой. Теперь она со своей семьей уезжает в Израиль — ее ссылка заканчивается... Мы прощаемся друг с другом; в какой-то момент я обратился к ней с вопросом о Люси. К моему удивлению, Маргит оказалась хорошо информированной и знала о замужестве Люси. Ее мужу, Лази Г., венгру с еврейскими корнями, в то время было не 35, а 40 лет. Он был женат на юной, прелестной и очень богатой особе. К тому моменту, как он познакомился с Люси, он был уже разведен. «Точнее Вам мог бы обо всем сообщить Эрнст К.^{†††} Он был другом Марты, а недавно он посетил ее в Чикаго», — сказала она и добавила: «Эрнст за это время перебрался в Ригу». И она дала мне его адрес.

Вскоре после этого я получил от Эрнста К. — он в свое время тоже был депортирован из Черновиц — подробный отчет о судьбе Люси. Передо мной развернулся пятый акт ошеломляющей трагедии. (Я привожу содержание письма с комментариями.) После нападения на Советский Союз Буковина вскоре была оккупирована немецкими войсками. Та часть еврейского населения, что осталась после депортации, частично была загнана в гетто, частично — в КЦ (KZ — немецкое обозначение концлагерей. — Прим. Е. Ш.) Тетя Регина со своей семьей пережили тяжелые времена в гетто; ее дочь Сельма живет сейчас в Канаде. Тетя Женя с ее мужем Германом, старшим братом отца, и ее сын Эдуард погибли в КЦ. Люси и ее муж смогли убежать в Румынию. Дело в том, что состоятельным евреям в Румынии, как и в других оккупированных областях, удалось заключить с нацистскими шиксами «джентльменский» договор; он был основан на значительно переосмысленном варианте поговорки времен Первой мировой войны «Золото даю за железо». Вместо сомнительного по своей ценности железа выкупалась «жизнь». Ведь если цена мертвых евреев была невысока, то живые стоили намного дороже. И бартер быстро наладился: за золото, ювелирные украшения и произведения искусства евреи могли выкупить свою жизнь. В 1943 году сотни ограбленных беженцев, среди которых были Люси и ее муж, ушли в Констанцу, портовый румынский город на Черном море. На корабле «Штрума» через Босфор они поплыли в Средиземное море и, наконец, добрались до Палестины — цели своего пути.

В то время Палестина была английской подмандатной территорией; в военное время власти были особенно бдительны, а у пассажиров «Штрума» не было виз, и палестинские порты их не приняли. Корабль развернулся и пришвартовался в Стамбуле, а затем через Босфор вернулся в Черное море и взял курс на смерть: корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой и вместе с людьми и мышами пошел ко дну. Большое масляное пятно на поверхности воды, обломки крушения, плавающие в нем, — все, что осталось от «Штрума». Из всех, кто из Констанца отправился в этот путь, в живых остался один: у него была английская виза, и ему позволили сойти на берег в Стамбуле, окольными путями он добрался до Палестины и живет сейчас в Мехико. Этот единственный выживший — кузен Эрнста К.

Люси, моя Люси, может быть, она, как андерсеновская русалочка, стала морской пеной? Великому датчанину принадлежит высказывание: «Самые прекрасные сказки жизнь пишет сама». Я бы добавил: «Как самые прекрасные, так и самые трагичные...» А может быть, Андерсен считал, что самые трагичные являются иногда и самыми прекрасными?

На этом история Люси заканчивается. Ее жребий был жестоким, как и у всех на том несчастливом корабле. И все же я думаю, что воды Черного моря были к Люси более милосердны, чем была бы Васюганская тайга, где бы она опустилась, завшивела и в конце концов погибла. «Судьба сдает карты...» Люси вытянула несчастливую...

^{***} *МаргитБартфельд-Феллерв 1941 году с родителями и младшим братом в рамках массовой депортации была сослана в Сибирь, в деревню Красноярка (Васюганского района). В 1990 году с семьей смогла уехать в Израиль; там она публикует в информационном издании для буковинцев «Голос» содержательные статьи и временах страдания в Сибири, а также настояльческие воспоминания о Черновице. В 1996 году вышел первый сборник ее коротких рассказов под названием «Остаться человеком вопреки»; за ним последовали «NichtinNichtsgespannt» (1998), «Как из другого мира» (2000), «На восточном окне» (2002.)

^{†††} *Эрнст Кудиш в 1941 году с родителями был депортирован в Сибирь. В конце 80-х годов с семьей переехал в Ригу, в Латвийскую ССР. Позже им удалось эмигрировать в США.

Пара слов о Марте. В годы войны она бежала в Румынию, уничтожила все свои документы, чтобы не быть опознанной как еврейка, взяла себе другое имя, поменяла «Марту» на «Констанцию», вышла замуж за американца, уехала после его смерти в Чикаго.

Еще один постскрипtum: тем июньским утром, когда нас погрузили в скотные вагоны для отъезда, Марта в сопровождении Люси шла в поисках своего друга Эрнста вдоль длинной цепочки вагонов, заглядывая в зарешеченные окошки и спрашивая о нем. Уже на обратном пути, они проходили мимо нашего вагона, и тут Люси крикнула: «Вольфи, и ты тоже?!»

В СИБИРЬ

Дальше Сибири не пошлют!

Русская поговорка

Постепенно редели вереницы прощающихся; наконец, мимо прошли те, кто задержался дольше других, для кого прощание с любимыми было особенно трудным. Охранник принес нам поесть: ведро каши и чай, хороший белый хлеб. Все ели, разместившись по своим углам; первое волнение улеглось, возбуждение пошло на убыль, и все примирились — на сегодня — с неизбежностью.

Я уже долгое время чувствовал жгучую потребность справить малую нужду и сдерживался, как мог. Мочевой пузырь, казалось, вот-вот лопнет, и, наконец, я заставил себя: вышел на середину вагона, посмотрел на окружающих и сказал подчеркнуто твердо, больше от страха перед собственной смелостью: «Я прошу всех отвернуться!» Потом подошел к ведру... Позднее мы соорудили из простыней подобие стен вокруг ведра. Первоначальная застенчивость при использовании ведра быстро прошла, и скоро уже слышалось: «Я следующий / следующая...». Циничная фраза «Человек привыкает ко всему» опять материализовалась.

Опустился вечер. Все готовились к ночлегу: на грязном дощатом полу были разостланы одеяла, все устроились удобно, насколько это было возможно. Наступил новый день. Мы все так же стояли на товарной станции. В прошедшую ночь отловили и погрузили еще одну партию несчастных. (Совсем недавно я узнал, что в те дни вышло административное постановление, где было сказано, что предоставляющие убежище также должны были быть депортированы.) Солнце нещадно нагревало неподвижно стоящие вагоны, в которых было жарко, как в печи. Отдельные горожане еще ходили вдоль вагонов, протягивая вверх тому или этому пакеты с вещами. Уже вторую ночь нам пришлось провести в неподвижно стоящем вагоне. Наступил рассвет третьего дня. Как ни странно, но стоянка всех очень утомила; мы ждали, когда же поезд тронется, и — что бы потом ни случилось — доставит нас наконец-то к цели.

Через окошечко я вглядывался вдаль. Там, над горизонтом, поднимались темные волны лесистых холмов. Милая страна буковых лесов! Любимая, маленькая Буковина! Затаившаяся в предгорьях Карпат, словно сказочная страна: все здесь изящное, миниатюрное, словно в кукольном мире — плавные холмы, ручейки, струящиеся по оврагам, рассеянные по долинам деревеньки с церквушками, протягивающие свои кресты на башенках Богу, как молитвенно сложенные руки, чтобы Он не отводил глаз от несчастий мира, чтобы Он не позволял торжествовать злу.

Вечером 13 июня мы почувствовали толчок: поезд тронулся в путь. Наши вагоны для скота трянуло на железнодорожной стрелке, и он покатился на восток, навстречу своей судьбе. Последний раз я смотрел на все из окошка. Усадьбы, стада с пастухами, тут пруд, там буковый лесок — все быстрее и быстрее проносились мимо: «Прощайте, горы, дорогие моему сердцу пастбища, уютные тихие долины, прощайте!»

Мы ехали всю ночь напролет, привыкая к тряске и толчкам наших безрессорных вагонов. Днем ландшафт изменился — широкие, ровные поля тянулись до горизонта, и при этом нещадно палило солнце. Очевидно, что мы прибыли на украинскую равнину. Кормили нас щедро! К каше и чаю добавили третье блюдо. На ужин принесли ведро с розовым, гелеобразным содержимым сладковато-пресного вкуса. Как позднее мы узнали, эта пища, приготовленная из кукурузного крахмала, называлась «кисель». Никто к этому странному колышущемуся блюду не притронулся — мы его вылили. Ах, мы еще воротили носы! Если бы мы знали, что нас ждет, то просто вылизали бы это ведро.

Прошла почти неделя: теперь мы, очевидно, проезжали широко раскинувшиеся украинские степи. Часто без видимой причины поезд останавливался на открытой местности. Однажды во время такой остановки подошла крестьянка и предложила нам кувшин молока за буханку хлеба. Я опешил: крестьянка — и просит хлеб?! Я подумал о наших буковинских крестьянах, у которых пищи всегда было в изобилии. Румыния в то время была аграрной страной, еда была очень дешевой, предложение превышало спрос, и никто не голодал. Ни один нищий не посчитал бы хлеб за милостыню; они требовали денег, чтобы потом, само собой, напиться. И еще: откуда эта крестьянка, которая пришла издалека — дома виднелись на расстоянии нескольких километров, — знала, что в этом поезде едут депортированные и что у них есть хлеб? Вероятно, были и другие такие же поезда с такой же «поклажей», как наш, и проезжая мимо, они позаботились о «рекламе». Уже остался позади Урал, когда однажды поезд вдруг опять остановился на открытом участке дороги. Наверное, это была запланированная длительная стоянка, потому что — о, спасение! — вагонные двери открылись. Мы, как дети, прыгали вниз из полутьмы, из клоаки наших скотных вагонов в свежий, дурманяще-свежий луговой воздух. Словно родившиеся заново, мы скакали в траве, как маленькие, жмурились в ярком дневном свете, болтали с соседями из других вагонов — и вдруг, словно взрывная волна, по вагонам разносилась новость: началась война! (Это было 22 июня 1941 года.) В мгновение ока умолк смех. Всех охватило подавленное настроение: как этот новый роковой удар отразится на нас? Догадки, страх, робкая надежда, что теперь нас, может быть, отпустят, сомнения — все перемешалось. Между тем прозвучала сирена, и мы неохотно стали карабкаться в наши клетки на колесах. Медленно, нерешительно поезд снова пришел в движение. Первоначальное возбуждение, спор мнений стихли, и вот уже почти все сонно и безразлично ко всему, что происходило, снова сидели на своих уздах.

Мы были в дороге уже две недели; воды нам не давали. Помыться, почистить зубы или сменить одежду — все это стало какими-то устаревшими привычками несуществующей для нас цивилизации. Из-за чудовищного, затхлого зловония, гнетущей тесноты в измученных лицах людей появилось что-то отталкивающее. Особенно издевалась над нами погода. Все время стояла испепеляющая жара и плыли лишь легкие облачка. Поезд уже двигался, вероятно, по Сибирской низменности, где небо выглядело бледно-голубым, ему не хватало синевы небес нашей высоко лежащей Буковины. Мы ни разу не видели какого-нибудь города или большой станции; очевидно, что наш поезд держали подальше от подступов к вокзалам — мы не должны были лишний раз мозолить людям глаза.

Прибыли в Томск. Нагруженные чемоданами и баулами, мы покидали наши скотные вагоны. Нас погрузили на речной пароход. Теперь мы были вместе с теми ссыльными, что ехали в других вагонах; отыскились знакомые (среди всех горестей немного радостных свиданий), и неисчерпаемые темы — как произошел арест и что нас ждет, — все обсуждалось заново.

Мне показалось сомнительным, чтобы наш корабль взял ссыльных со всех вагонов; скорее всего, их распределили на несколько кораблей, которые доставляли свой груз в разные районы Томской области. После тесноты скотных вагонов на корабле у нас появилась долгожданная свобода передвижения. Можно было прогуливаться по палубе, размять, расправить тело, и наконец-то мы смогли помыться!

Сначала плыли вниз по Томи. Высокие, лесистые берега, оживленный трафик на реке — буксиры, баржи, — маленькие деревушки, которые скользили мимо нас, рыбаки на песчаном берегу: после однообразия железнодорожного переезда все дарило нам приятные впечатления.

Наш корабль плыл среди живых, хорошо обустроенных речных пейзажей; кормили нас неплохо: и голоса людей стали наполняться светом. Все давало надежду на то, что по прибытии на место мы найдем сносные условия для проживания. Ах, пробуждение от этих грез было таким жестоким!

ЧЕРНЫЕ ВОДЫ

Наша «Fahrt ins Blaue» (здесь игра слов: термин означает «прогулка», но содержит в себе слово «голубой», что перекликается с понятием «голубая вода» в противовес «черным водам». — Прим. Е. Ш.) длилась уже несколько дней. Между тем мы вошли в Обь, величайшую реку мира, и направились вниз по течению все дальше на север. Теперь удаленные от нас и размытые в тумане берега были едва различимы. Куда же мы плывем? Настроение изменилось, неизвестность давила. Все собрались на палубе, молча и угрюмо смотрели на

поверхность воды. Все реже скользили мимо корабли или лодки, все тоскливей становился далекий берег.

Вдруг один молодой человек вытащил из своих пожитков футляр, открыл его — мы вытаращили глаза — скрипка, взмахнул смычком и заиграл... мелодию румынского национального гимна «Да здравствует король в мире и славе...» Глаза у всех пассажиров просветлели; никто не сказал ни слова, но тихая, многозначительная радость разлилась у всех на лицах. Конечно, каждый из нас понимал, что это соло не было выражением лояльности к румынскому государству, где евреи не пользовались большой симпатией. Скорее, это был веселый вызов, адресованный охранявшему нас и застывшему от неожиданности энкавэдэшнику. Он смотрел озадаченно, не зная, чем объяснить внезапное изменение нашего настроения; наконец, казалось, побежденный всеокрушающей силой музыки, он криво улыбнулся. Дорогой, мужественный скрипач! Как сложилась бы твоя судьба? Если бы тебя не заставили покинуть свой дом...

И вот мы свернули налево, в речку Васюган²¹. Я испугался: вода была черной, мы попали в совершенно незнакомые края. Теперь мы двигались вверх по реке, берега приблизились, и я мог осмотреть местность. Казалось, это была болотистая, бесплодная земля; Васюган извивался в бесчисленных поворотах среди тоскливого ландшафта. Никаких признаков жизни, ни деревни, ни поселка, только плотный кустарник и заросли ив, ветви которых с низкого берега склонялись к самой воде. День проходил за днем. Я чувствовал себя исследователем, который отправился в путь, чтобы открыть новые земли, только к моему любопытству и изумлению примешивался гнетущий страх.

Примерно через неделю на левом высоком берегу показалась деревня. Мы причалили. Все высыпали на палубу и с искренним удивлением наблюдали за мужчинами, в сапогах идущими по глинистому берегу: их головы были укутаны черными сетями. Наше изумление довольно скоро развеялось, потому что рой кровожадных moskitov неистово набросился на нас, и, размахивая руками, мы бросились под крышу. (Пока корабль был на полном ходу, встречный свежий ветер сдувал комаров; теперь же они до нас добрались.) Деревня называлась «Средний Васюган» и была первой станцией нашей ссылки: кто хотел, мог здесь остаться. Многие с баулами и чемоданами сошли на землю. Я удержал маму: надеялся на лучшее. Если бы мы только сошли! Ведь потом было только хуже.

Все дальше и дальше разрезал черную гладь васюганских вод железный Стефан на носу нашего корабля. Следующими остановками стали деревушки Красноярка и Маломуромка. И тут можно было сойти с корабля. Некоторые из нас, среди них мама и я, все еще не решались. Наконец, корабль причалил к довольно крутому берегу. Мы прибыли в Теврис, пояснил нам матрос. Перед нами была большая деревня, где-то мычала корова. «Всем высаживаться!» — прозвучала команда. Мы были довольны, наконец-то добрались до большого поселка — но здесь остаться нам не разрешили! Стариков, пожилых женщин и пожитки отправили дальше на лодках по несудоходному притоку Васюгана. А остальные, среди них и я, должны были идти по тайге примерно четыре часа, с проводником и под охраной, по узким извилистым тропинкам, по лужам, перешагивая через корни, через гнилые стволы упавших деревьев, пока не добрались до деревушки. Сталинка — маленькая деревенька, названная в честь большого человека, — была последней точкой, где депортация заканчивалась; для многих она закончилась здесь и в прямом смысле. Через некоторое время прибыли лодки; мы с мамой снова были вместе.

Комендант, тощий сотрудник НКВД, под начало которого мы прибыли, собрал нас на берегу перед колхозной конторой, сделал переключку и произнес короткую, но содержательную речь.

— Вы сосланы сюда в ссылку на двадцать пять лет и должны работать в колхозе, — сказал он без дальнейших разъяснений.

— Ну, если он гарантирует мне двадцать пять лет, я могу быть совершенно спокоен, — с истинно еврейским юмором высказался один дряхлый старичок.

Затем нас, где-то сорок человек, стали распределять по домам. Маму, меня и еще одну семью расквартировали к незамужней крестьянке, которая — мы могли ей только посочувствовать — приняла нас угрюмо. В одной из комнат маленького деревянного дома (одновременно это была и кухня) стояли кровать, грубо отесанный стол, две лавки, табурет. Для начала мы соорудили постель на полу — так провели в ссылке свою первую ночь.

На следующее утро хлынул ливень. Тем не менее нас вызвали на работу — заготавливать силос. Местные жители — как бывшие кулаки они тоже подчинялись коменданту и должны были работать вместе с нами — роптали на подобное живодерство: в такую погоду хозяин даже собаку за дверь не выгонит. Но это не помогло; а комендант, вероятно, чтобы показать, что поблажек здесь не бывает, настоял на своем. Одно счастье, что старикам, моей маме в том числе, разрешено было остаться дома. И вот мы зашлепали по вязким тропинкам и лужам через заросли к поросшему ивами речному берегу; здесь мы ломали ивовые ветки и бросали их в большую яму. Наконец, когда яма была заполнена, нам разрешили пойти «домой». Грязный и промокший насквозь, я вернулся к маме.

Тайга! Край для меня настолько чужой, что я чувствовал, будто попал на другую планету: ни камней, ни гальки, только черная, рыхлая земля, иногда булькающая под ногами; дремучие, часто непроходимые заросли, в которых роятся миллиарды убийственных moskitov; скрюченные карликовые березы, переплетенные друг с другом ивы, под низко висящими ветвями которых нужно было пробираться изворачиваясь, спотыкаясь при этом о пни и гнилые ветки, и — что меня особенно угнетало — черная речная вода (на самом деле темно-коричневая и, как оказалось, абсолютно пригодная для питья).

Жители деревни (их самих в тридцатые годы выслали сюда как кулаков, на необитаемую в то время береговую местность, впоследствии Сталинку) поначалу жили в шалашах, а затем срубили деревянные избы. И теперь они без устали попрекали своей робинзонадой непрошенных гостей, которые «хорошо устроились», сразу найдя готовое жилье. Деревня расположилась на обширном холме, который отгораживал деревню с ее полями от прилегающих болот, и насчитывала от тридцати до сорока дворов, из которых около половины выстроились вдоль Ипалин-Игай (приток Васюгана); остальные окаймляли широкую длинную дорогу, ведущую под прямым углом к реке.

В следующие дни мне поручили особую работу. (Я был крепче других молодых людей и потому привлек внимание колхозного бригадира.) С группой местных я работал на строительстве дороги: мы должны были вынуть несколько кубометров земли по сторонам неглубокого оврага; позднее через овраг должен был быть построен мост. Я работал изо всех сил, не уступая местным. Во время обеденного перерыва я быстро съедал скудную трапезу, что давала мне с собой мама: два-три ломтя хлеба, между которыми была толстая молочная пенка (раньше я пенку терпеть не мог, теперь же она казалась мне объединением). Затем я утолял жажду из болотистого пруда, что находился по соседству, усталый бросался на траву и отдыхал, лежа неподвижно до конца перерыва. Местные при этом с аппетитом наворачивали сало, рыбу и жареную картошку.

Каждый вечер в конторе заполнялся табель, где отмечались оплачиваемые «трудовые дни». Наша работа — выгребание земли — считалась тяжелой, и нам начислялось за нее больше, чем за простой «трудовой день». Было обидно, потому что мне всегда записывали меньше, чем местным. Однако жаловаться я не осмеливался. До поры до времени мы получали паек — 500 граммов хлебного рациона, — его разрешалось купить на наши деньги. Пока еще мы могли скудно питаться, голод не был столь болезненным, и мы даже не подозревали, что нас ожидает.

В один прекрасный солнечный день нашим деревенским жителям, как и мне, дали работу легче, чем обычно: мы должны были ворошить намокшее во время дождя сено, чтобы оно просохло, на довольно далеко расположенном лугу. Работа была приятной, свежий ветер сдувал надоедливых комаров, и на какое-то время мы почувствовали себя даже хорошо. Молодой человек лет тридцати, сосланный вместе с отцом и матерью, был в особенно приподнятом настроении и запел звучным баритоном арию «И я был когда-то богатым кавалером чардаша...» из кальмановской «Графини Марицы». Мы наградили певца аплодисментами за чудесную импровизацию.

Как-то ранним сентябрьским днем выпал снег, за один час все побелело. Это необыкновенное зрелище на исходе лета ошеломило меня настолько сильно, что слезы брызнули у меня из глаз. В одно мгновение я осознал весь смысл слова «Сибирь», от которого еще на родине меня бросало в дрожь: снег, холод, голод и... смерть; очертания «сибирского всадника апокалипсиса» уже отчетливо становились видны. Наша хозяйка успокоила меня: настоящая зима придет только в середине октября. И действительно, на следующий день было опять светлое небо и приятная погода; солнце над горизонтом стояло низко, но снег оно растопило.

Новая работа на веялке — примитивном устройстве с ручным приводом, которое отделяет зерна от плевел. Я вертел рукоятку семь-восемь часов в день, как шарманщик («и очоченевшими

пальцами / он крутит что есть сил»^{†††}). В обеденный перерыв я съедал немного вареной картошки, которую мама давала мне с собой. Была от этой работы одна польза: в мой второй растянутый левый лыжный ботинок (мои элегантные полусапожки в тайге долго не протянули) всегда попадали пшеничные зерна, и дома я выцарапывал оттуда иногда целую горсть. Мама высыпала их в жидкий суп. (Наполнение карманов при этом рассматривалось как воровство, как государственное преступление.)

Это было поздней осенью, когда я получил «аванс» за свои трудодни: полтора килограмма гороховой муки. Сладковатая, пресная каша, которую из нее сварила мама, показалась мне настолько восхитительной, что я искренне удивился, почему мы дома не готовили столь прекрасную вкуснятину. (Ход мыслей подобного рода был первым свидетельством психических изменений, вызванных голодом.) Этот «аванс», собственно говоря, был единственным, что я получил от колхоза. В дальнейшем он давал лишь работу без какого-либо вознаграждения. Но было бы ошибкой назвать наш труд рабским, поскольку нельзя не заметить существенной разницы: хозяева обеспечивают своих рабов питанием и одеждой, в то время как мы полностью заботились о себе сами, а хлебный паек — пока он был в наличии — должны были покупать. По крайней мере, нас не пороли; бригадир, он же надсмотрщик за рабами, каждое утро проходил вдоль ряда домов и стучал в окна: «На работу!»

Справедливости ради хочу заметить, что местным жителям жилось ничуть не лучше; все зерно, которое они сеяли и собирали, кроме семян, оставленных на посев, они должны были безвозмездно сдавать государству. Они не видели ни муки, ни хлеба (вспомнилась крестьянка, которая во время нашего переезда предлагала нам молоко в обмен на хлеб). Теоретически колхозникам разрешалось избыток зерна после сдачи так называемого государственного заказа оставлять себе; практически же этот заказ был рассчитан так, что колхозникам не только ничего не оставалось, но чаще всего они еще и оставались в долгах²². На маленьких земельных участках, которые крестьянам были выделены для единоличного пользования, они выращивали не зерно, а урожайные культуры, такие как картошка и различные овощи. С этого они могли кормиться сами и отчасти содержать домашний скот (корову, иногда теленка). Куриц не держали, их нечем было кормить. Ни у кого в деревне не было видно кошек или собак.

Как-то поздней осенью по одному члену из сосланных семей было велено явиться в колхозную контору. Здесь нам объявили, что мы должны подписаться на добровольный военный заем. Термин «добровольно» должен был рассматриваться гипотетически; правда, физическую силу не применяли, но мы были подвергнуты «конторскому аресту»: пока ты не ставил свое имя на подписном листе, ты не мог покинуть помещение. То тот, то этот, нервно ерзая на скамье, пытались протестовать, ссылаясь на отсутствие денег, — ничего не помогало. Я был невозмутим: у меня оставалось только несколько рублей, и в теплой конторе я чувствовал себя вполне уютно; мне было комфортно, и я задремал. Примерно через два часа меня отпустили. (Власти, очевидно, были хорошо информированы о финансовых возможностях каждого из нас, в том числе и о том, какая сумма мне начислялась за тяжелую работу.) Как эта поучительная история закончилась для тех, кто остался под стражей, — мне не известно.

Тем временем наступила зима. Работы в колхозе приостановились: делать было больше нечего, каждый был предоставлен теперь самому себе. И все реже удавалось выменять на картошку оставшуюся одежду.

ГРАФИН МОЛОКА

Участники боевых сражений рассказывали мне, что маленькие кусочки шрапнели, которые в то суровое время врезались им в плоть, спустя годы постепенно выталкивались на поверхность и, наконец, извлекались. Наша психика ведет себя таким же образом: она вытесняет болезненные воспоминания из памяти и сохраняет радостные, безоблачные картины — нежные мамыны руки, первую любовь... И это хорошо, потому что иначе человечество давно бы высохло под вечным грузом печального прошлого или даже погибло. Но природа набрасывает завесу на ужасы прошлого («время лечит раны») и приподнимает ее, только если какой-нибудь курьезный случай или даже одно незначительное слово не вызовет

^{†††} Und mit starren Fingern / Dreht er / was er kann — цит. из песни Ф. Шуберта «Шарманщик» (Der Leiermann) из цикла «Зимний путь», 1827 г.

вдруг в памяти мрачные события. Для меня таким словом стало «die Milchkaraffe» (графин молока).

1941 год принес неурожай: картошка, которая была основным средством пропитания, не уродилась. А это означало — голод. Жители деревни в большинстве случаев еще имели достаточные запасы, чтобы перезимовать и провести посев, но нам, вновь прибывшим, рассчитывать было не на что. Магазинов в деревне не было; купить у местного населения было невозможно, ведь деньги здесь ничего не стоили; оставалось лишь одно, как и тысячу лет назад, — обмен. Снова и снова все, без чего можно было обойтись, обменивалось на картошку и молоко. Но в конце концов и этот рынок был исчерпан — крестьяне больше не давали картошки; их и без того скромные запасы таяли, и они должны были сохранять для себя то, что оставалось.

Это означало, что нужно было искать новый рынок для обмена, и здесь имелось два варианта. Не так далеко, на Васюгане, вниз по реке находилась деревня Маломуромка, а дальше на запад лежала деревня Теврис. Первый вариант решено было исключить, поскольку люди в Маломуромке так же нуждались, как и мы. наших товарищей по несчастью, которые в результате депортации там оказались, постигла столь же печальная участь... О Теврисе те, кто там побывал, говорили, что если уж не картошку, то молоко приобрести там возможно.

И вот из старого мешка, к двум краям которого я привязал веревку, у меня получился настоящий рюкзак, в него я уложил пуловер, полотенце, стеклянный графин с пробкой и отправился в путь, сопровождаемый наилучшими пожеланиями мамы. Была зима, умеренный мороз, градусов 15. Дорога шла сначала вдоль речки Ипалин-Игай, потом прямо по замерзшей реке и, наконец, петляя, вела через тайгу. Двадцать километров пути я преодолел в хорошем темпе, и вот уже показались дома большой деревни.

Тут я начал думать, что можно успешнее обменять — полотенце или пуловер, и стоит ли мне в графин брать молоко. В делах обмена я уже прошел хорошую школу. Закон спроса и предложения здесь не имел смысла. В этой общественной формации царили совсем другие порядки и обычаи. Прежде всего, нужно было соблюдать повседневный крестьянский этикет: открывать дверь в дом и сразу предлагать товар являлось непростительной ошибкой. Напротив, торговле должна была предшествовать своего рода прелюдия из пустых разговоров о том, о сем до тех пор, пока не наступал момент перейти к делу.

Таким образом я обратился уже в три дома, но когда после долгих «то да се», наконец, переходил к сути дела, я слышал только угрюмое «Мне не нужно!» В четвертом доме я тоже получил отказ, но, заметив, с какой жадностью крестьянка взглянула на пуловер, я продолжил «пустые разговоры». Еще раз обстоятельно обсудили погоду, и когда я, опираясь на безошибочные признаки, заявил, что лето будет теплым и влажным, и потому можно надеяться на хороший урожай, а крестьянка сказала несколько банальных слов про своего маленького сынишку, который вертелся тут же, то мы, в конце концов, пришли к соглашению. Обеднев на один пуловер, но с графином, полным молока, я зашагал домой.

Вот уже стало видно упавшее дерево — треть дороги позади! Здесь раздвоенная береза — значит, недалеко до реки. По гладкому, слегка припорошенному льду удавалось идти быстрее. Между тем становилось темно. Мороз крепчал, и снег зловеще скрипел под моими ногами. Но за молоко я не волновался — постоянная тряска защищала его от замерзания. Скоро тропинка вывела меня на ровный берег, и через полчаса я был дома. (Могу ли я про бедную лачугу, в которой мы жили, говорить «дом»?) Немного усталый, но довольный я вытащил графин из рюкзака и держал его в руках. При взгляде на молоко измученное, сморщенное мамино лицо просветлело, тень улыбки скользнула на ее высохших губах. Она схватила графин, и... хрясь! — он выскользнул из ее дрожащих, слабых рук. Из-за влаги, которая в теплой комнате образовалась на стенках графина, он сделался скользким. Я никогда не забуду эту картину: комната, слабо освещенная керосиновой лампой; голые стены, грубо отесанный стол, сколоченный из сырых досок; пол, усыпанный осколками, залитый молоком, и обезумевшее лицо моей матери. Никто из нас не мог сказать ни слова; Мы смотрели друг на друга и молчали... Любимая моя, добрая мама! Что ты пережила тогда! «Кто со слезами хлеб свой никогда не ел...»; но был ли у нас хлеб, чтобы мочить его слезами? Здесь память мне изменяет, но думаю, что паек в то время мы еще получали.

ВЕЛИКИЙ ГОЛОД

К заботам о пропитании теперь добавилась забота о дровах. Одолжив санки, топор и веревку, я по глубокому снегу топал в ближайший лес, рубил сушняк, укладывал срубленные ветки рядами на санки и тянул их. Я был еще сильным и делал это с удовольствием, мои мышцы тренировались.

Где-то в это время наш скудный хлебный паек был отменен. До этого мы еще худо-бедно могли питаться немного молоком, реже картошкой, которые выменивали на одежду, и хлебным пайком. Про сахар, сыр или мясо мы даже забыли думать — эти слова потеряли для нас всякий смысл. Все отчетливее маячил призрак голода. Однажды нам удалось с соседями выторговать у рыбака щуку длиной в метр. Мы честно разделили ее на две части и, страшно голодные, съели не совсем свежее, жесткое мясо. Наконец, мама отдала свое золотое обручальное кольцо, за которое мы получили ведро картошки; его хватило нам на какое-то время. Каждый вечер теперь я обходил мусорные кучи и собирал картофельные очистки. Мама их мелко резала и готовила лепешки с горьковатым и немного едким вкусом. Время от времени мы грызли кусочки комбикорма, которые собирали недалеко от конюшни. Они были твердые и отвратительные на вкус.

Неожиданно я почувствовал слабость: однажды, когда мне снова нужно было идти в лес за дровами, я с огромным трудом, едва поднимая топор, смог дотащить до дома лишь наполовину нагруженные ветками санки. То здесь, то там на улице мне удавалось найти замороженные картофелины. Однажды, когда в очередной раз я пытался выменять у крестьянки на что-нибудь съестное оставшиеся у нас вещи, я увидел лежащую на полу в коридоре замерзшую картофелину и незаметно сунул ее в карман. Силы покидали меня на глазах. Через какое-то время я едва мог переставлять ноги и стал передвигаться, шаркая ногами и опустив голову. Когда я наткнулся на какое-нибудь препятствие в виде низенького пенька или лежащей на дороге ветки, то старался их обойти: сил на то, чтобы перешагнуть их, у меня не было. Я спотыкался, падал, вставал, снова падал, с трудом поднимался и тащился дальше. В этот год умер старый господин Фаликманн, отец того самого баритона, что пел арию «Кавалера чардаша». Он был первый, кто отправился в этот путь; за ним последовали многие.

Наступившая весна увидела, как мы все изменились. Подобно тому, как все новорожденные чем-то похожи друг на друга и только позднее проявляют свою индивидуальность, у нас наблюдался обратный процесс. Симпатичные и не очень, нежные и грубые наши облики постепенно превращались в равнодушные, чудовищно однообразные маски; из обтянутого болезненной, морщинистой кожей черепа смотрели большие, темные круги безучастных глаз, в которых лишь изредка возникало дуновение жизни. Мы превратились в бесполок существ — из двух основных жизненных инстинктов у нас остался только инстинкт самосохранения. Понятия стыда, смущения, стеснительности потеряли всякий смысл. Все мы были помечены; смерть сидела на наших шеях, но никто не хотел этого признавать. Изможденные, с безумными глазами, в поисках чего-нибудь съедобного скользили мы безмолвно мимо друг друга, как тени, по этой неприветливой земле.

В последний месяц зимы и в начале весны количество смертей увеличилось. Первыми уходили мужчины преклонных лет, за ними вслед пожилые женщины; наконец, настала очередь молодых. Умирили быстро, неожиданно, без страданий. Новости о смертях перестали удивлять и часто воспринимались равнодушно. Помню одного высокого опрятного сорокалетнего мужчину, держащегося немного особняком, по фамилии Шаевич. В ту осень мы недалеко от деревни должны были дергать лен. Стоял сухой, солнечный день, все работали молча; Шаевич добросовестно трудился вместе со всеми и при этом шутками и веселыми рассказами создавал всем хорошее настроение. «Сегодня Шаевич был такой милый», — говорили на обратном пути наши черновчанки. Был... «Днем прилег и уже не встал», — сухо сообщил впоследствии его сосед.

В это время меня стали мучить сильнейшие позывы к мочеиспусканию. По ночам давление в мочевом пузыре заставляло меня вставать каждые два часа. Сонный, шатаясь, я шел к дверям и писал прямо в снег, а потом падал на жесткую постель и снова мгновенно засыпал. Эти регулярно повторяющиеся ночные прогулки заменили мне будильник: подъем в четвертый раз означал, что наступило утро.

Две-три семьи смогли удержаться на плаву. Им повезло, они были расквартированы к богатым крестьянам и сами были достаточно хорошо обеспечены: имели драгоценности, одежду, домашнюю утварь, чтобы вести со своими хозяевами обмен.

Количество депортированных уменьшалось катастрофически быстро. Добрый старый господин, который в свое время со стоическим юмором воспринял оглашение нашей двадцатипятилетней ссылки, умер еще в конце года; «гарантия» истекла преждевременно. Госпожа Фаликманн, его жена, вскоре последовала в могилу за своим супругом; молодой Фаликманн, который во время сенокоса так радовал нас арией Кальмана, остался совсем один. Он продолжал жить в маленькой комнате у крестьянки, и вещи, оставшиеся у него после родителей, давали ему шанс на выживание.

Вероятно, по требованию крестьян, которые устали от своих обременительных гостей, руководство колхоза посреди зимы решило для тех ссыльных, которым, очевидно, жить оставалось недолго, оборудовать общежитие. Нам выделили пустующий дом, стоящий в конце ряда домов вдоль Ипалин-Игаи. Видимо, изначально это строение планировалось использовать как официальное учреждение, контору или клуб; оно состояло из единственной огромной комнаты с двумя окнами, выходящими на реку. Для нас даже — сколь сердечная забота! — поставили железные походные кровати! Ave, Stalin, morituri te salutant! (Да здравствует Сталин, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.) — Прим. Е. Ш.) Сюда поселили одиннадцать истощенных мужчин и женщин, претендентов на услуги Харона. Маме и мне выделили одну кровать.

Однажды после нашего размещения к нам даже пришла приветливая медсестра из большой деревни Теврис. (Упомянуть о том, что в Сталинке не было медсестры, не говоря уже про аптеку, было бы излишне.) Когда очередь дошла до меня, я пожаловался на сухой кашель, на ночную потливость и слабость, предположил легкую лихорадку, поскольку градусника не было... Она выслушала меня с участием и посоветовала мне — совсем в духе Гейновской баллады «Жаммерталь» — употреблять хорошую и жирную (!) пищу. Когда она ушла, я посмеялся в кулачок. Еще в школьные годы — особенно благодаря книге Пауля Круфа «Охотник за микробами» — я приобрел кое-какие знания в области медицины, так что симулировать туберкулез мне не составляло труда. Я знал, что легкие у меня здоровы, но хотел, чтобы весной меня не погнали на работу; для этого я сейчас, согласно симптомам, должен был быть признан «нетрудоспособным». Ах! Как же я был наивен — едва переставляя ноги, я думал о возможности физических работ!

Наши запасы были полностью исчерпаны, уже долгое время, мама и я, питались только картофельными очистками. Однажды я решился на отчаянный поступок: там, где дорога от Ипалин-Игаи уходила направо, недалеко от реки стоял солидный дом, в котором одиноко жила крестьянка. Она была стара, худа и очень замкнута; говорили, что ее сын в Теврисе занимает важную должность. До сих пор всем, кто осмеливался предложить ей что-нибудь к обмену, она грубо отказывала. Вот туда-то я и направился; я говорил бессвязно, изображая стеснительного дурачка, полагая, что вещи, которые я ей предлагал, мало чего стоят; потом замолчал, опустив глаза. Крестьянка оглядела меня с ног до головы, спустилась в подвал, принесла ведро картошки и вручила его мне — я думаю, больше из сострадания, чем из желания приобрести вещи, которые я принес. Когда я, произнося слова благодарности, пятился к двери, она стала меня убеждать, что будет намного лучше, если я не буду ходить с опущенной головой. Добрые слова старой, строгой женщины придали мне мужества — пусть Бог отблагодарит ее! — и весь наполненный радостью, я нес неожиданный подарок домой.

Трудным делом было для меня бритье. В свое время я в спешке вместо своей бросил в чемодан отцовскую бритву Жиллетт. Ее лезвие довольно скоро затупилось; мне посоветовали точить его о внутреннюю сторону стакана — и это помогло. Таким образом, я скоблил бороду, вероятно, в течение года. Позднее я как некурящий смог два коробка спичек выменять на новое лезвие. (Этим бритвенным аппаратом я пользовался в течение всех лет моей ссылки. Теперь я храню его — единственную вещь, что осталась мне от отца, — как реликвию.)

Между тем смерть, держа в руках песочные часы (в Европе песочные часы — такой же символ смерти, как коса. — Прим. Е. Ш.), стала посещать наш слишком высоко расположенный склеп и тыкать своими костлявыми пальцами то в одного, то в другого. Уже пустовало несколько кроватей. Мы все были завшивлены; не стесняясь, искали у себя вшей и гнид. Но и это занятие вскоре стало утомительным, мы стали просто чесаться; постоянно слышался характерный треск.

В один из дней руководство колхоза для нас, ссыльных, распорядилось затопить колхозную баню. Это была так называемая баня «по-черному»: в низком деревянном срубе без окон, между кирпичами, камнями и кусками железа (все это, очевидно, было привезено издалека) был разведен огонь, на который установили котел с водой. Дымохода не было, и пока горел огонь, дым и угарный газ выходили через открытую дверь. После этого дверь закрывали: баня готова

(«по-черному» баня называется из-за стен, покрытых сажей.) Когда я увидел там себя голым после нескольких месяцев, я ужаснулся: ноги неестественно далеко располагались друг от друга, из-под обвисшей кожи отчетливо торчали кости. Я мылся (не помню, было ли у меня мыло) наспех, потому что жар был просто отупляющий; очнулся я лежащим на скамье после легкого обморока, набросил на себя одежду (если лохмотья можно назвать одеждой) и пошел «домой». Во второй раз такую баню я посещать не стал...

Наш маленький резерв картошки быстро таял. Когда однажды я в очередной раз принес дрова из близлежащего леса, мама сообщила мне, что фрау К. взяла картошку из нашего мешка. Фрау К., которую я вызвал для беседы, признала свою вину. Только один раз или часто она ее таскала? Об этом я не спрашивал, это было бессмысленно. Довольно грубо я потребовал, чтобы она даже близко не подходила к нашим запасам.

Наряду с заготовкой дров у меня была еще одна обязанность, которая зимой превратилась в настоящую пытку, — доставка воды. Когда мы жили у крестьянки, то черпали воду из ближайшего колодца. Теперь воду приходилось доставать из Ипалин-Игай. У крестьян из соседних домов в заледенелом крутом речном берегу были вырезаны ступеньки, и в своих валенках они проворно карабкались по ним. С обувью у меня была проблема: в своих двух левых ботинках с гладкими подошвами на слабых ногах я не мог удержаться на скользких ступеньках. Я наполнял ведро наполовину и с трудом начинал взбираться вверх, но часто соскальзывал со ступенек и при этом обливался водой — брюки моментально твердели, — спускался опять к реке, наполнял ведро и снова карабкался вверх... О, Сизиф! С третьего, четвертого раза мне, замерзшему и почти окоченевшему, удавалось, наконец, забраться вверх.

С земляками, которые остались жить у крестьян, мы больше не общались. В нашем жилище, граничащем с тайгой, мы томились изолированные, словно прокаженные. Каждый жил и умирал в одиночку.

Был конец апреля, поздний вечер. Все разошлись по кроватям; только две женщины при слабом свете керосиновой лампы еще занимались делами за столом, как вдруг мы услышали стук в дверь, закрытую изнутри. Прислушались. Голос снаружи: «Впустите меня!» Это был голос молодого Фаликманна, его баритон. Никто не пошевелился, никто не сказал ни слова. Стук усилился. «Я — Фаликманн!» — кричал он. «Я — Фаликманн!» — он рычал, скрипел и кулаками колотился в дверь. Он был не в своем уме. «Пустите меня! Пустите меня!» — выл он, кидаясь на дверь. Никто не шевельнулся, никто не произнес ни слова. Спустя какое-то время стало тихо. Мы никогда больше его не видели, никогда больше не слышали... Я не хочу ничего приукрашивать и оправдываться. Тот, кто читает это, может сам судить и решать.

Настало время посева. Местные жители сагитировали меня сеять картошку; руководство колхоза выделило мне стоящую на пару полоску земли в поле. Земля лежала на склоне холма, плавно спускавшегося на север, и потому получала меньше солнечного тепла. Но на это обстоятельство я тогда просто не обратил внимания. В это время мой родственник из Уругвая прислал мне по моей просьбе 25 долларов, вместо которых мне выплатили 25 рублей. (Если бы это было возможно, то я просил бы одежду, а не деньги, которые здесь ничего не стоили.) Я купил два ведра картошки величиной с лесной орех, вскопал свое поле и посеял семена в землю. Насколько тяжелой была для меня эта работа, сколько дней я трудился, — это я описывать не буду; из моих соотечественников, во всяком случае, никто не последовал моему примеру.

Купить картошку стало теперь легче; крестьяне засеяли свои картофельные поля, скот пасся на прилегающих полях и уже не нуждался в дополнительном прикорме, а от скудного, заботливо хранящегося прошлогоднего урожая оставались излишки. За две мамины отороченные кружевом ночные рубашки, которые я расхваливал, как бальные платья, я смог купить несколько ведер картошки. Местные, у которых был свой подобный опыт, посоветовали нам не пренебрегать крапивой и пыреем. И вот мы, как скот, перешли на подножный корм. Вдоль заборов в изобилии росла трава, и мама варила из нее, добавляя картошку, «овощной суп».

Мы пережили тяготы зимы и теперь должны были познакомиться с чумой сибирского лета. У нашего дома не было коридора, и выход из общей комнаты вел напрямиком в тайгу. Всякий раз как дверь открывалась, внутрь устремлялись полчища комаров и кровожадно на нас набрасывались. В качестве дров мы использовали теперь хворост, который я собирал в тайге и тащил домой в связке. Один раз я наткнулся на дикий куст малины и жадно накиннулся на ягоды; они были маленькие и чахлые, но все равно в них были витамины и сахар.

Посаженная мной картошка хорошо взошла, и в июле я окучивал ее высоко тянущиеся побеги — как тяжело было держать тяпку в слабых руках! Работал с перерывами, сгибаясь каждые две минуты, пот лился мне на лоб, на брови, кровь на шее я вытирал вперемешку с комарами. Надежда на хороший урожай давала мне силы переносить все страдания.

Из моих соотечественников никто не взялся за эту работу. Комендант тоже не появлялся; мы были ему не нужны: больше двух третей депортированных «сбежали» из ссылки особым образом — над ними росла теперь трава; среди тех, кто остался, были крепкие, но уже в преклонном возрасте люди, а другие, помоложе, одной ногой стояли в могиле.

Наконец закончилась последняя картошка, которую я выменял, и теперь оставались только крапива и пырей.

Сентябрь приближался, и вместе с ним время копать картошку. С лопатой, ведром и мешком я отправился на свое картофельное поле, выкопал один куст, другой... Ах, поговорка «У глупого крестьянина огромная картошка» была не про меня: мои клубни были чуть больше, чем бобы, но при этом меньше, чем грецкий орех. Все, что я смог накопать, — это два ведра крошечных клубней — именно столько я посадил весной. Только позднее я, неопытный в сельскохозяйственных работах горожанин, понял, почему моя картофельная ботва так буйно взметнулась ввысь (а я этому так радовался): она изо всех сил тянулась к солнцу.

Дождливое лето, однако, не только мне, но и крестьянам принесло плохой урожай. Картошка снова была дефицитом; за деньги ее вряд ли можно было купить, только через бартер. Нам удалось выменять одно ведро. У меня и мамы почти ничего не осталось из одежды, без которой мы могли бы обходиться. Из хороших вещей оставались теплое одеяло и большая подушка, которые нужны были нам, чтобы не околеть от холода.

МАМА!..

Наступил октябрь, нас ждала зима, вторая зима, которую мы должны были провести здесь — вдали от родины, в холоде и голоде. Мама часто думала об отце. «Помоги ему, Боже, — говорила она тихонечко, — он сделал столько хорошего, чтит и поддерживал своих родителей, не жалел денег для дома престарелых...» Ах, к тому времени моего дорогого отца уже не было. В пятидесятые годы, когда я жил уже в Тегульдете, я получил наконец ответ на свой запрос. В нем говорилось, что 27 декабря 1941 года в Долинском (место под Карагандой в Казахской ССР) мой отец, сидящий в пресловутом рабочем лагере № Р-246, также известном под названием «Карлаг», умер... Причина смерти: «сердечный приступ» — обычная формулировка, прикрывающая убийство. Боженька, возьми душу моего невинного отца в свой рай!

Кое-как я смог раздобыть еще одно ведро картошки, которую мы ели, заботливо взвешивая в руке каждый клубень. В нашем жилище царило тягостное молчание. Соседи — мне помнится, оставалось семь или восемь женщин — изредка перекидывались словами. О чем можно было уже говорить? В конце концов, артикуляция тоже требовала затрат энергии...

Было 5 октября, когда ночью я услышал, как мама стонет во сне. Я схватил ее за руку, пощупал пульс: он был слабый и часто пропадал. Утром я увидел маму, лежащую с открытыми глазами, она хрипела. «Мама!» — закричал я; в ответ только хрип. Меня охватил безумный страх. Одна из женщин сказала, что нужно накапать ей спирту, который был у господина Г. Я выскочил из дома, побежал вдоль домов, крича: «Моя мама умирает!», прибежал обратно. Мама лежала тихо, глаза открыты — она была мертва. В последние минуты я оставил ее одну...

Я откинул спутанные седые волосы с маминого лба, гладил ее впалые щеки и тихо плакал. Меня словно парализовало, я не знал, что делать. Пришли господин Г. и кто-то еще: в конторе я должен был заказать гроб. Прошло три или четыре часа, а я все сидел в ногах у мамы, погруженный в свое горе. Голова у меня была тяжелая, я не мог ухватить ни одной ясной мысли. Когда же я очнулся, то увидел зрелище, от которого кровь застыла у меня в жилах: по маминой рубашке ползли полчища вшей, которые повывлезли из своих укрытий на ее охладевшем теле... Это шестое октября 1942-го стучит в моем сердце.²³

Я отправился в контору. Для гроба нужны были гвозди, и я должен был их купить; легко сказать, ведь магазинов тут не было. Я пошел вдоль заборов и онемевшими пальцами вывернул, вытащил из досок горсть ржавых, скрюченных гвоздей. На следующий день мою мать похоронили. Истощенная кляча тянула телегу, на которой лежал гроб. Около десяти сельских жителей шли, провожая мою маму в последний путь. Гроб опустили в могилу (крестьяне, что

выкопали ее, спасибо вам!), засыпали землей. Никакой метки, даже воткнутой в землю палки нет на том месте: я был не в состоянии думать, остальные были безучастны.

Мама была последней, для кого еще был сколочен гроб: не хватало досок и гвоздей; тех, кто последовал за ней, опустили в могилу завернутыми в льняное полотно.

Сегодня деревня, где мама в чужой земле нашла последнее пристанище, опустела; тайга разрослась над разрушенными, сгнившими домами, над маминой могилой и над могилами других несчастных.

После похорон я, шатаясь, побрел в нашу «усадебку». Оказалось, что все ушли из нее: соседи покинули это злосчастное место. Я упал на кровать, накрылся одеялом и уснул от изнеможения и душевного потрясения. Возможно, это был летаргический сон: я спал три дня и три ночи подряд. Один раз я через приоткрытые веки смог различить фигуры; они бесшумно вошли в комнату, бросили на меня смущенные взгляды, забрали из моего мешка картошку и исчезли. Я узнал каждого из них, но был не в состоянии пошевелиться или сказать хотя бы слово. На четвертый день я поднялся. Комната казалась непривычно светлой. Я выглянул наружу: на земле лежал свежавыпавший снег. Было холодно, я замерз и накинул на себя пальто. Потом нетвердой походкой пошел к дому, где жили мои «наследники», и вернул обратно свою картошку. Никто не посмел возражать; они тарасились на меня, как на привидение.

Уже долгое время я чувствовал раздражающее жжение на теле; я разделся (чего не делал уже несколько месяцев) и увидел: на лодыжках, в подмышках, местами на бедрах гноились маленькие черненькие ранки. Я снова оделся и больше об этом не думал. Мне было важно знать причину своего недомогания. То, что язвы связаны с голодом, было очевидно; перевязать их или хотя бы просто продезинфицировать не было никакой возможности. Я также не знал, что эти болячки были серьезным признаком смертельно опасного недуга. Связь между причиной и следствием стерлась в моем сознании. Полнейшая апатия всецело захватила меня; все мысли крутились вокруг одного и того же — еда, еда; и все, что находилось за пределами этого понятия, было безразлично. (Язвы постепенно зажили; через несколько месяцев они зарубцевались, оставив, однако, четко очерченные круги. С течением времени пятна на лодыжках сместились вверх, что само по себе очень странно. Сегодня, спустя пятьдесят лет, они почти исчезли и заметны только на икрах.)

Ко мне пришел неожиданный гость. Господин Г. расспросил меня о моем положении и выразил готовность купить один из двух моих чемоданов — тот, что побольше. «Они в любом случае вам больше не понадобятся», — добавил он с легкой непринужденностью, вручая при этом мне пару рублей. Женщины, что жили в нашем доме, были опять расселены к крестьянам. И я покинул это зловещее место, перешел к крестьянке, которая проявив милосердие, взяла меня к себе.

Это звучит кощунственно, но это правда: моя мама дважды подарила мне жизнь; первый раз — когда родила меня, второй раз — когда умерла. За мамино пальто и другие предметы одежды я смог купить несколько ведер картошки; два раза в день я варил ее себе по полкастрюльки — это было много.

Приготовление трапезы и ее поедание превратилось для меня в целый ритуал: как только клубни картошки вываривались до каши, я ставил кастрюльку на доску, приделанную с наружной стороны дома, чтобы холодный зимний воздух поскорее остудил еду. Потом я ходил перед домом из стороны в сторону, думал о том о сем; и в это время, когда в моем подсознании крутились мысли о содержимом кастрюльки, я назло этим фантазиям отчаянно пытался отвлечься от мыслей о предстоящем пире: складывал числа, декламировал стихи, считал свои шаги. Где-то через четверть часа я чувствовал, что момент настал: я отбрасывал наигранное равнодушие, заходил в дом, основательно усаживался и начинал трапезу. Я бережно погружал ложку внутрь кастрюльки и вынимал тонкую полоску каши. Это были восхитительные минуты! О, как я проклинал дно кастрюльки, как только его становилось видно. Наконец я вычищал все, ложку облизывал, кастрюлю ополаскивал. Суть этой церемонии можно описать незатейливым стишком, который я бормотал себе под нос: «Voll ist der Bauch und Freut sich auch» («Коль полон живот, и радость придет». — Прим. Е. Ш.).

ПРОЩАЙ, СТАЛИНКА!

В конце 1942 года было принято постановление, по которому ссыльным, имеющим профильное образование, разрешалось покинуть колхоз и перебраться в районный центр, в большую деревню Новый Васюган. Я воспринял это так, словно в нашем чудовищном КЦ без ограждений и колючей проволоки открылась невидимая дверь. Вместе с господином Байзером, крепким сорокалетним мужчиной из числа счастливых, мы стали собираться в дорогу. На маленькие санки я погрузил весь мой скарб — наполовину пустой чемодан, одеяло, подушку, — и мы отправились в путь. Прощай, Сталинка, место страха и ужаса! Прощай, мама, остающаяся в безмолвной и дикой тайге! Покойся с миром!

Дорога шла вдоль Васюгана, через деревни, лежащие вверх по течению реки; в зависимости от расстояния между ними мы ежедневно проходили по 15–20 километров. С каждым шагом мы удалялись от Сталинки, и это придавало нам сил и мужества. Ночевали у крестьян, и поскольку у господина Байзера были деньги, мы везде находили хороший приют. Названия деревень до сих пор сохранились в моей памяти: Калганак, Черемшанка, Айполово. В общей сложности мы преодолели 150 километров, прежде чем пришли в Новый Васюган.

В то время Новый Васюган был административным центром Васюганского района (сейчас он включен в состав Каргасокского района); здесь находились районный партийный комитет и исполнительный (управленческий) комитет; здесь были аптека, школа, парикмахерская, деревозаготовительное и деревообрабатывающее предприятия, баня и даже кино. Мы отметились у коменданта — коренастого офицера милиции. Он дал мне направление на предприятие, на вывеске которого было написано «Промкомбинат». Столь высокопарно названное предприятие оказалось столяркой и мастерской по металлу, где инвалиды войны и непригодные к военной службе изготавливали табуретки, скамейки, оконные рамы и прочее. Меня определили на должность нормировщика. Из отсталого колхозника я превратился в классово-сознательного труженика²⁴. Это изменение моего социального статуса принесло мне небольшую зарплату и — что было куда важнее — право на хлебный паек (500 граммов). В мои обязанности входило рассчитывать себестоимость и продажную стоимость (отпускные цены) для предприятий, и чтобы я мог быстрее приступить к работе, мне дали доступ к инструкциям и табелям. После жизни в Сталинке, кошмары которой преследуют меня и по сей день, работа на комбинате, где я в тамбуре завода мог сидеть за столом, показалась мне просто райской жизнью — если бы не голод, который мучил меня и здесь. Картошку раздобыть было сложно, других продуктов практически не было, и полкило хлеба не могло утолить ноющий голод. В качестве жилья мне дали пустой полуразрушенный домик на краю деревни. В его единственной комнате стояли кровать, стол, табурет — мне больше и не требовалось. В углу лежала всякая рухлядь, среди которой я нашел осколки зеркала: теперь я мог роскошно бриться.

1943 год стал для меня годом изнурительных пеших переходов. В январе я должен был с санным караваном, сопровождая груз, отправиться в деревню Средний Васюган, чтобы выполнить формальности доставки и приема товара. Наш караван из шести тяжело нагруженных саней двинулся в путь вдоль Васюгана вниз по реке через уже известные мне деревушки. Трое работников, привязав длинные вожжи к саням, шагали один во главе, другой — в середине, третий — в хвосте санного поезда. Погода была к нам благосклонна: ни ветерка, только небольшой морозец и солнце в небе, озаряющее бескрайние снежные просторы. Лошади шли шагом; за одними из саней тащился я, не отрывая от них пристального взгляда, потому что ослепляющий белый снег был для глаз непереносим. Путь пролегал в основном по ровной, свободной местности, лишь изредка удавалось увидеть жиденький лесок. Я шагал, шагал, шагал... Когда у меня возникала нужда по-большому, я отходил в сторону и садился на корточки в снег, слишком долго, однако, засиживаться было нельзя, иначе был риск отстать от каравана.

Общая длина нашего пути составила 200 километров; ежедневно мы проходили от 20 до 35 километров, делая остановки в деревнях, ночуя в гостиницах. Самым тяжелым был последний переход: нужно было преодолеть 50 километров замерзших болот; промежуточных остановок не было. Последние километры я брел шатаясь, в полуобморочном состоянии. Если бы от переутомления я упал, сопровождающие работники вряд ли смогли обо мне позаботиться: к этому времени уже стемнело, и моего исчезновения просто не заметили бы. Наряду с ужасами Сталинки этот 50-километровый марафон остался в моей памяти как невыносимое физическое напряжение.

В Среднем Васюгане можно было отдохнуть два дня, а затем нужно было отправляться в обратный путь. Эта пауза дала мне возможность посетить Эдуарда Перлштайна, моего дорогого, любимого черновицкого друга. Эди — так мы его звали — со своими родителями и с другими черновчанами был высажен на первой станции нашей дороги страдания. Условия жизни здесь были немного лучше, чем в местах ссылки, которые лежали вверх по реке, если

только можно при этом говорить о «лучшем». Здесь имелись несколько предприятий и даже столовая, которая, правда, вскоре была закрыта.

Я нашел Эди в убогом домишке, где он жил с мамой. Отец, аптекарь по профессии, уже отмучился. Эди работал подмастерьем у кузнеца, и его маленький заработок позволял им с мамой владеть жалкое существование. Я принес замороженной рыбы, которую купил по дороге, и фрау Перлштайн сварила восхитительную уху.

Эди изучал в Праге фармацевтику, но профессией своей не занимался. Он был писателем и писал на немецком языке. Он был одарен, муза часто целовала его; даже когда мы просто прогуливались вместе, он постоянно импровизировал в стихах, делал маленькие зарисовки, в которых юмористически комментировал события дня, отношения друг с другом. При этом рифмы не были неровными или скучными, а совсем наоборот — плавными и содержательными.

В то время мы, молодые парни и девушки, часто собирались вместе, гуляли, общались. Хорошее вино и красота девчонок заставляли кипеть нашу юную кровь. То один, то другой, рассказывая анекдот с игривым намеком или какую-нибудь новую сплетню, вызывал у нас взрыв хохота. Но постепенно шутники умолкали, и только один голос завладевал вниманием всей компании: это Эди рассказывал. Его смешные истории, его веселые, остроумные фарсы могли бы — если бы они сохранились — стать новым «Декамероном». Эди рассказывал, и его черные глаза начинали пылать, мимика оживала, сопровождая повествование, с прозы он легко переходил на стих, потом опять возвращался к прозе.

Эди был не только блестящим собеседником; он работал в то время над историческим романом и над сборником стихов... Конец его жизни был трагичен: он, как и многие, стал жертвой бесчеловечного режима. Вскоре после жуткой смерти своей матери — она скончалась во время пожара в их домишке — умер и он, нищий, жалкий, истощенный, от опухоли головного мозга.

От его произведений осталось только одно четверостишие. Эди в свое время написал его своей подруге как посвящение на ленточку Рильке. Ленточка вместе со своей владелицей попала — куда бы вы думали — в Сибирь; после ее смерти — к Маргит Ф.; она и переписала мне это четверостишие. Здесь должны стоять эти строки, вместе с подписью Эди и датой:

Нам всем дается опыт, чтоб мы могли понять,
Все смысл имеет в мире, нельзя ничто терять.
Не думай, если хочешь, — делай, если решил.
Когда перестанешь бояться, сразу станешь живым.²⁵

Эди П. 17/X 1939

Все остальное безвозвратно утеряно. Можно ли чем-то искупить его смерть?

В ПАМЯТЬ ОБ ЭДУАРДЕ ПЕРЛШТАЙНЕ

Два фарса из «Перлштайновских рассказов» остались в моей памяти, попытаюсь их воспроизвести. Здесь появится один часто встречающийся в историях Эди персонаж — в свое время в пражских академических кругах он был известен как вечный студент, который рассматривал природу без особого природного дарования. Забавные приключения К., правда, совершались только в бурлящей фантазии Эди.

ПОРОХОВАЯ БАШНЯ

Это случилось в дни весеннего карнавала. Мы сдали экзамены по неорганической химии и обильно заливали успех в нашем любимом кафе. В жизнерадостном настроении мы шатались по ночной Праге. Ах, эти пражские девушки! Эти подобные ивам гибкие, спортивно подтянутые фигуры и веселые, блестящие глаза!

В бесшабашном настроении и немного навеселе бродили мы по узким улочкам старого города. На небе сияла полная луна и затмевала уличные фонари. «Волшебная ночь, залитая лунным светом», — восторженно заклинал Пауль сказочный мир Тика. В тени готических и барочных построек, чьи выступления в завитушках украшали диковинные надписи и орнаменты, казалось, что действительность ускользает. Вереницы масок — рыцари, оруженосцы,

благородные дамы — шумно, с улюлюканием вырывались из дверных проемов, и в нашем затуманенном сознании прошлое становилось реальностью. Мы несколько бы не удивились, если бы дорогу нам преградил отряд яростных ландкнехтов или даже если бы сам Рабби Лев и его призрак появились бы из темноты выступающих стен и встали напротив нас.

Как всегда, к нам присоединился К.; мы уже привыкли к этому чудаку; он неизменно курил свои дешевые сигареты и время от времени пытался вставлять пару слов в наши запутанные сплетнями разговоры, но его реплики всегда тонули в шуме. Едкий, раздражающий дым от сигарет К. все время шел в нашу сторону, и Пауль, этот озорник, вдруг не смог себя сдержать. Он подскочил и вырвал сигарету изо рта курильщика. «Что-о-о ты себе позволяешь?» — закричал К., более потрясенный, нежели рассерженный. Пауль указал на узкое высокое здание, венчавшееся отвесной крышей в виде шатра и поднимавшееся выше соседних домов. «Здесь, вблизи от пороховой башни²⁶ — курить?! — воскликнул Пауль с негодованием. — Ты хочешь, чтобы у нас были неприятности? Еще хорошо, что охранник нас не заметил, а то...» К. был озадачен. Он растерянно посмотрел на нас, потом на пороховую башню... Мы молчали, сдерживая смех. Надо было видеть, как тяжело он воспринял упрек, — молча, погруженный в себя, следовал он за нами.

Прошло примерно три недели, и этот комический эпизод забылся, как вдруг мы заметили, что К. уже два дня не появляется в нашем кафе. Может, заболел? Один друг из нашей компании, которого мы попросили сходить к К. на квартиру, вернулся в недоумении — К. вот уже два дня не появлялся дома... Мы были озадачены — что делать? Сообщить его родителям в Сучаву?²⁷ Обратиться в полицию? Такие мысли носились у нас в головах, как вдруг дверь распахнулась — и в кафе ворвался К. Он был бледен, волосы падали ему на лоб. «К.! Дорогой, милый К.! — воскликнули мы в один голос. — Где ты пропадал? Что случилось?» К. обессиленно опустился на стул, немного помолчал, откинул со лба волосы и начал рассказывать запинаясь: «Ну, вот... во вторник... я вышел немного прогуляться, хотел купить жратвы у Пospешалы... Прохожу мимо пороховой башни — и что я вижу?... Толстый чех идет мне навстречу с зажженной сигарой в зубах!.. Прямо рядом с пороховой башней!.. Я подпрыгнул, вырвал ту дешевую сигару с его морды, растоптал ее... Он... он начал размахивать руками и кричать — на чешском; я не понял ни одного слова и показываю ему на пороховую башню... Он орет, машет... Подошел охранник и отвел меня в полицию. Ну, я им все объяснил; они меня, слава Богу, поняли... И тут пришли еще два человека в белых халатах и стали задавать мне глупые вопросы — сколько мне лет, что больше, 217 или 303, сосчитал ли я все звезды... Они не отпускали меня два дня, а потом эти глупцы сказали, что я не должен расстраиваться, что мне нужно просто хорошенько выспаться, и дали мне конфетку...»

«ОН» ВЗРЫВАЕТСЯ

В отношении девушек К. был более чем осторожен, он был воздержан, как кастрат. Нам, однако, очень хотелось лишиться его этой добродетели. Как-то вечером мы компанией сидели за столом; я пролистывал газету, и тут — мы заранее договорились — я подскочил:

— Еще один случай...

— Что ты говоришь! И... взорвался? — спросил Лео, мой визави.

— К сожалению, — подтвердил я. — По счастливой случайности обошлось без жертв. Двое прохожих легко ранены.

— А он?

— Доставлен в больницу, но никакого риска для жизни нет, — бросил я в ответ.

— О чем вы говорите? — поинтересовался К.

— Ах, тебе это будет неинтересно, — уклонился я от ответа с притворным смущением.

— Почему вы от меня все скрываете? Что вы все секретничаете? — возмутился он.

Я парировал:

— Нет, пожалуйста, мы не можем тебе этого рассказать...

К., обиженный, отвернулся.

Два дня спустя я, держа в руках газету, опять указал на заметку:

— Дело принимает рискованный оборот... На этот раз в электричке...

— Такой же случай? — спросил Лео сдавленным голосом.

— И-мен-но, — сказал я, растягивая слово.

— Сильный взрыв? — Лео казался встревоженным.

— У проводника и двух пассажиров ранены лица и руки. Несколько окон разбилось вдребезги...

— А мужчина?

— С тяжелым внутренним кровотечением доставлен в больницу...

К. напряженно вслушивался.

— Вы должны, наконец, рассказать мне, о чем идет речь, — прервал он раздраженно наше мрачное молчание, — с вашей стороны просто свинство так со мной обходиться! Какие вы после этого друзья?

К. был очень возмущен. Мы позволили ему еще немного пошуметь, после чего я уступил:

— Ну, ладно, если ты непременно хочешь это знать — изволь, от постоянного воздержания, ну, ты понимаешь, что я имею в виду, скапливается... э... в члене... э... сок; давление растет все больше и больше... в конце концов, это приводит к взрыву... — объяснил я ему.

— Полный вздор, того, что ты говоришь, не может быть, — возразил К.

— Ах, так, ты не хочешь этому верить? — наехал я на него. — Тогда прочти, пожалуйста, газету и убедись собственными глазами!

Я подал ему «Новости Ледовии» и указал на заметку (чешского языка он не знал).

— Можешь спросить у нашей хозяйки, она тебе переведет, — сказал я невозмутимо. К. выглядел растерянно; наши слова действительно произвели на него впечатление.

Вечером, перед отходом ко сну, К. пользовался ночным горшком. Мы решили использовать этот момент. На следующий вечер, когда К. отправился смотреть кино, мы, засыпав лимонный порошок в этот деликатный сосуд, легли в постель и притворились спящими. К. вернулся домой в хорошем настроении.

— Чудесный фильм, — мурлыкал он, блаженно улыбаясь и приятно потягиваясь. Потом он разделся, вытащил горшок, и тут — шипение, а затем дикий крик! Голос К. дрожал. Мы повыскакивали из постелей.

— Ущипните — это его спасет! — взревел я.

— Скорее плоскогубцы! — кричал Лео.

К. беззвучно лишился чувств. Потребовалось время, чтобы привести его в себя и успокоить.

Мы доставили наш груз, загрузили новый товар и двинулись в обратный путь. Расстояние в оба конца, примерно 200 километров в каждую сторону, мы преодолели за две недели. Дорога домой далась мне легче — ведь больше всего нас беспокоит неизвестность, а меня она уже не тяготила.

Как такое возможно, что я, в одном пальто без подкладки, в легкой лыжной шапочке на голове, в двух левых, уже почти сношенных лыжных ботинках, обессиленный от голода, смог вынести такую тяжелейшую физическую нагрузку и сибирский мороз! Полагаю, что человек имеет «железный запас» внутренних сил, который он заботливо бережет и высвобождает только во время великих испытаний. Станет ли задумываться юная мать, никогда не занимавшаяся

спортом, если для спасения своего ребенка от злой собаки ей нужно перемахнуть через высоченный забор? А рывок, который делает тучный господин, когда видит несущегося на него разъяренного быка, — разве не заставит он гордиться даже какого-нибудь титулованного бегуна?! В моем критическом положении этот запас прочности проявился в особенном образе действия: мои чувства и мысли полностью отключились, и движения я совершал чисто механически: нога ставилась за ногой, нога за ногой... Весь караван — сани, погонщики и я, все мы стали одним существом, которое неотступно продвигалось вперед, и в этой гигантской мокрице Кафки я был одной лапкой...

Из моей довольно однообразной работы на комбинате мне запомнился один интересный случай: однажды приехал вышестоящий, очевидно, не страдающий от недоедания партийный босс и заказал деревянную подставку для своей керосиновой лампы. Токарь, которому я передал наряд, обратил при этом мое внимание на то, что для индивидуальных заказов предусмотрена более высокая ставка оплаты. Я, конечно, был готов проявить солидарность с пролетариатом, найдя в своих табелях и инструкциях соответствующее предписание, и установил цену на добросовестно изготовленную подставку в размере шестнадцати рублей. Великий Боже! Как же этот выдающийся деятель набросился на меня, когда я назвал ему цену! «Что ты себе позволяешь, ты в своем уме?!» — рычал он на меня. Я лепетал что-то о требованиях для изделий, выполненных на заказ, что привело его в полнейшее бешенство; он орал так громко, что звенело в ушах. Мне уже мерещилась Сталинка или еще что похуже... Дрожа, я снизил цену до шести рублей; босс взял квитанцию, подставку, окинул меня испепеляющим взглядом и удалился. На этот раз я хорошо отделался, но этот случай послужил мне хорошим уроком: в общении с партийными шишками требуется осторожность.

В конце февраля я был вызван в исполнительный комитет. Подобный визит не предвещал ничего хорошего, но я был принят на удивление доброжелательно. В комитете хотели знать, готов ли я отправиться в командировку в соседний район, в Пудино. Там одному из ссыльных удалось организовать цех по производству бумаги; секретарь комитета предложил мне на месте ознакомиться с технологией, а затем на нашем комбинате установить аналогичное оборудование.

Бумаги повсеместно не хватало, и я как нормировщик комбината мог об этом немало понарасказать. Чистой бумаги достать было вообще невозможно; для записей использовались обычные страницы из книг и брошюр, только если — упаси Бог! — это не были гениальные труды классиков марксизма-ленинизма. А жаль! Ведь для этих целей они сгодились бы как нельзя лучше из-за отличной бумаги и текста, набранного с большими межстрочными пробелами и широкими полями. (Благодаря этим маленьким хитростям, с которыми преподносилось творчество «классиков», представленное огромным количеством томов, оно воспринималось «верноподданными» с тихим благоговением; с другой стороны, неотъемлемой принадлежностью этих изданий были фотографии главы государства, на которых он мог увековечить себя в моменты своей благотворной деятельности.) Когда же допустимый заменитель бумаги заканчивался, то писали на уже исписанных листках еще раз, только теперь поперек. Привилегии имелись у парткомитета и у школы: им выделялся ничтожный резерв белой бумаги.

Секретарь комитета показал мне образец бумаги пудинского производства. Она была сероватой, грубой и жесткой; в других обстоятельствах она могла бы служить в лучшем случае для упаковки, но в нашей ситуации она была бесценна: на ней все-таки можно было писать. С изготовителем этой бумаги, Альбином А. ^{§§§}, я был хорошо знаком: он был инженером, учился

^{§§§} *Альбин Айзенштайн, ссыльный, который в Пудино построил бумажную фабрику, в 1953 в Томске по гнусному доносу был арестован органами НКВД и приговорен по статье № 58 (контрреволюционная деятельность) к 25 годам работ в трудлагерях. Через три года в начале эры Хрущева его освободили. После получения ученой степени был назначен профессором Технического университета в Томске. Но он по-прежнему сталкивался с дискриминацией и, наконец, вынужден был подать заявление об уходе. В 1976 году ему удалось вместе со своей семьей эмигрировать в Германию. Здесь его настигли два удара судьбы. Его жена умерла в молодые годы от тяжелой болезни, позже умер его единственный сын. Как пенсионер он жил на пенсию в Дюссельдорфе. Свои воспоминания о Сибири он описал в книге «Искусство выживания». Он умер в 2002 году.

в Шарлоттенбурге, был депортирован с женой и ее родителями. В Черновице мы жили на Театральной аллее и были соседями — я, безусловно, мог рассчитывать на его помощь.

«Дорога идет довольно долго вверх по реке, вдоль Васюгана. До границы нашего района можно ехать на санях, — сказал секретарь, — но дальше — непроходимые болота, примерно километров девяносто, их можно пройти только на лыжах. Проводник будет прокладывать тебе лыжню.» Я вспомнил, что в свое время занимался спортом — был хорошим пловцом, много лет катался на коньках, играл в теннис, блестяще — в настольный теннис, ездил на велосипеде. Но лыжи не были моей сильной стороной: заниматься ими я начал поздно и на дощечках чувствовал себя неуверенно. Секретарь, видя сомнения на моем лице, развеял их, добавив: «Мы дадим тебе хлебную карточку на 800 граммов и достаточно денег в дорогу». 800 граммов хлеба — наивысшая норма! «Ого-го! — зашептали маленькие чертики мне в уши, — в прошлом месяце ты прошагал пешком 400 километров, неужели ты на лыжах не сможешь проехать 90?!» И я клюнул на приманку. «Я это сделаю, — сказал я несколько самодовольно, — даже если мне придется ползти на четвереньках».

И вот мы двинулись в путь, проводник и я. В санях наготове лежали широкие, так называемые «охотничьи» лыжи. У меня было превосходное настроение: ехать в санях и тащиться за санями — совсем не одно и то же. В деревушках, лежащих на высоком берегу Васюгана, мы делали привал. В памяти остались только два названия: Майская и Елизаровка; я покупал свои 800 граммов хлеба, картошку, однажды даже лосятину, и ел, нет, объедался до изнеможения, чтобы укрепить свой организм для предстоящего перехода: я был достаточно глуп, чтобы верить, что обильное питание в течение одной недели сможет восстановить мой организм, ослабленный двумя годами голода. За четыре дня мы преодолели приблизительно 150 километров и прибыли на конечную станцию, Шмаковка.

Теперь настала очередь лыж. Проводник легко скользил на них по снегу, а я шел по его следу. И вскоре я понял, что этот переход будет не таким легким, как я себе его представлял. Снег был глубиной около полуметра, местность неровная. Тропа через заросли вела то вверх, то вниз, извиваясь между близко стоящими деревьями. Узкое, длинное пальто путалось у меня в ногах, и каждые десять шагов я падал в снег. Проводник терпеливо ждал, пока я с трудом поднимусь и последую за ним — для того, чтобы вскоре снова плюхнуться; снег набился везде, где только можно — в ботинки, в рукава, за воротник, прилип к стеклам очков. С такими мучениями мы прошли всего пять километров; до охотничьей избушки, в которой нам предстояло переночевать, оставалось еще тридцать километров. Я должен был признать, что переоценил свои силы; было непростительным легкомыслием решиться на столь рискованное путешествие. А ведь никто меня не заставлял: я сам добровольно засунул голову в петлю. «Мы должны вернуться, я больше не могу», — сказал я удрученно. Проводник словно только и ждал моих слов: вероятно, наш лыжный тур и ему казался не очень заманчивым, — и мы вернулись.

Обратный путь на санях доставил мне уже меньше удовольствия. С беспокойством ожидал я возвращения в Новый Васюган — вряд ли я мог рассчитывать на торжественный прием. На одной из промежуточных станций я разработал конструкцию висячего замка (замки тоже были в дефиците), которую я надеялся предложить директору комбината, так сказать, в качестве компенсации за мою неудачу.

Прибыв в Новый Васюган, я, минуя исполнительный комитет, пробрался на комбинат, где во всем признался директору. Он набросился на меня со всей силы; чертеж швырнул в сторону, даже не посмотрев. «Это каждый слесарь может сделать намного лучше», — сказал он презрительно. Деньги за дорогу мне вычли из зарплаты, хлебный рацион вернули к обычной норме — но на этом и все. Так закончилась моя экспедиция. Но, возможно, могло быть хуже, и тогда уже не было бы никаких смягчающих обстоятельств: бумажная фабрика в Пудино как раз приблизительно в это время сгорела...

Настало лето. Меж тем я был переведен на другое предприятие. «Лес-Топ» — так называлось это производство, которое отвечало за поставку строительной древесины и заготовку пиломатериалов. Лесорубы работали в окрестных лесах — в Новом Васюгане находилась лишь дирекция, — и здесь, в бюро, я снова был назначен нормировщиком. Директор, в отличие от комбинатовского грубияна, был человеком спокойным и уравновешенным. Его жена была бойкой, энергичной особой — на предприятии она была чуть ли не самым главным человеком — кассиром. В нашем бюро она появлялась редко. Здесь мне нравилось намного больше, чем на комбинате: без вечного визга напильников, станков и стуча молотков. В бюро нас было трое: бухгалтерша — она была ссыльной латышкой, административный работник и я. И все было бы хорошо, если бы не голод...

Недалеко от Нового Васюгана, где-то километрах в восьми, находилась деревушка Волково. Говорили, что там в прошлом году можно было раздобыть картошку. В одно из воскресений я отправился в дорогу. Узкая тропинка вела через подлесок, иногда через болото, где ноги приходилось ставить на круглые, поросшие мхом холмики, возвышавшиеся над покрытой влагой землей. Я ушел еще не так далеко, когда услышал проклятое жужжание: и тут же комары, злые духи таежного ада, в диком танце закружились вокруг меня. Я отчаянно размахивал руками, но жужжание становилось все более громким и угрожающим. Я вытирал кровь с шеи и лица, а посмотрев вверх, увидел висящую надо мной темную тучу бешеных комаров. Такой яростной атаки я не испытывал даже в Сталинке. Наконец я отломил ветку с ближайшего куста и, хлеща себя по затылку и по лицу, постарался ускорить шаг.

Придя в Волково, я был щедро вознагражден за свои мучения. После долгих торгов я смог купить два ведра картошки и в хорошем расположении духа пустился в обратный путь. Как ни странно, но комары досаждали мне уже куда меньше — дул ли свежий ветер, или моя кожа стала не столь чувствительной, или картошка заставила меня забыть про все неприятности? Несмотря на свою тяжелую ношу, я шел бодро и преодолел уже половину дороги, как вдруг примерно метрах в пятидесяти от себя заметил зверя, который шел прямо на меня. Была ли это большая собака или волк? Уши стояли торчком... В нерешительности я остановился: бросить свой груз? Найти палку? В долю секунды эти мысли пронеслись у меня в голове. Страх я не чувствовал; я был словно парализован и смирился со своей судьбой. Тут зверь, который был от меня уже на расстоянии прыжка, исчез в кустах. Позднее крестьяне заверяли меня, что волки тут не водятся, глубокий снег зимой не позволяет им здесь обжиться. И все же: ведь сейчас было лето, и как могла сюда попасть собака, так далеко от любого жилья? А название деревушки Волково только подтверждало мои подозрения.

Дома я стал разглядывать себя в осколке зеркала: мое лицо бесформенно раздулось, из-под опухших век виднелись маленькие глазки. Недалеко от дома, в пруду, я вымыл лицо, шею, глаза. Холодная, ничем не замутненная вода — вероятно, озеро питалось из болот — приятно освежала воспаленную кожу. Потом я поставил на огонь полную картошки кастрюлю и, смертельно уставший, бросился на кровать, отказав себе в приятном ритуале ожидания предстоящего праздника. Прошло полчаса: почему же не слышно, как кипит мой обед? Я заглянул в кастрюлю — вся вода вытекла! В кастрюле образовалась дырка!.. Меня словно ударили по голове: это было полной неожиданностью. Не раздумывая, я снова налил воды — результат был тот же. Я готов был расплакаться и очень грубо выругался; после всех трудностей — комариной пытки, нервирующего торга, долгой и трудной дороги с грузом на плечах — этот подлый горшок собирает лишить меня заслуженного счастья?! Я сел на кровать и таранился на горшок, подложивший мне такую свинью... Наконец, я взял себя в руки; намял из хлебных крошек (ах! как было жалко!) шариков и залепил ими дырку.

Ну, наконец-то я смог досыта наесться, продекламировал свой стишок и, расслабившись, упал на постель. Ночью, как всегда, меня разбудили клопы. (Дом долгое время пустовал, и изголодавшиеся твари кровожадно набросились на долгожданную жертву.) В сумерках яркой летней ночи дюжина перепуганных клопов бегала по моей подушке. Осторожно, чтобы они не прыгнули (эти зверьки умнее медлительных вшей), я пронес подушку через порог дома и стряхнул своих квартирантов в ближайшую лужу. После этого я снова залез в кровать и заснул: близкие родственники погибших смогли на мне плотно подкрепиться.

В Новом Васюгане имелась правильная «белая» баня: в деревянном срубе без окон стояла печка, к которой был приделан большой котел для горячей воды. Под ним разводился огонь, при этом, в отличие от «черной» бани, дым выходил через дымоход. Во втором котле была холодная вода. В помещении стояли скамейки, на них деревянные тазы. Посетители бани — мужчины и женщины — посещали баню поочередно в разные дни недели: наполняли тазы водой из разных котлов, мылись, а грязную воду сливали на пол, откуда она через водосток стекала наружу.

Целых десять дней, мстительно бормоча боевой клич «Смерть вшам!», я протапывал тропу войны, которая вела в баню. Ох, как мучительно чесалась моя кожа под мыльной пеной и горячей водой! На пару дней воцарился покой, после чего мои домашние зверюшки появились снова: у меня было лишь две рубашки, которые я поочередно стирал в ближайшем пруду; при этом не все вши уничтожались, некоторые всегда оставались невредимыми, разве что зарабатывали себе насморк. Зато от вшей на голове я смог избавиться окончательно: в парикмахерской я позволил обрить себя наголо и радостно смотрел на вшей, которые вместе с волосами падали на простыню. Парикмахершу не смущало столь щекотливое зрелище; она равнодушно смотрела на барахтающихся зверюшек (возможно, у нее были такие же).

Лето было на исходе. Картошка, которую я купил, давно закончилась. Денег, что оставались у меня, едва хватало на хлебный паек. Каким бы изобретательным я ни был в торговле обмена, продавать больше было нечего; последнее, что я отдал, были мои золотые очки; состоятельные земляки дали мне за них 120 рублей. (Правда, у меня оставались еще одни в простой роговой оправе.) Но на этот раз было исчерпано все — золото, вещи для обмена, картошка... Я слабел день ото дня; я устал, я был вымотан физически и морально — как долго я смогу еще сопротивляться смерти, которая снова и снова тянула ко мне свои костлявые руки? Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспомнились слова Гете: «Добро потерял — немного потерял!.. Честь потерял — много потерял!.. Мужество потерял — все потерял!» Я потерял мужество.

Так, однажды вечером, в депрессии, совершенно отчаявшись, я отправился к коменданту. Я нашел его дома, в кругу семьи; двое маленьких забавных ребятишек ползали на четвереньках под столом.

— Я всё, я больше не могу, — сказал я тихо.

Комендант посмотрел на меня; он все понял с первого взгляда.

— Ты можешь каждый день брать у меня по пол-литра молока. С 500 граммами хлеба и молоком ты выдержишься, — сказал он спокойно.

Я не ослышался?

— У меня нет денег платить за молоко, — пробормотал я, заикаясь.

— Отдашь в конце месяца, когда получишь зарплату, — ответил комендант.

Задумавшись, медленно пришел я с бутылкой молока в руках домой, сел на кровать, и мои давно сдерживаемые слезы брызнули из глаз. Меня снова поддержали добрые слова (я вспомнил старую строгую крестьянку из Сталинки), опять загорелась во мне искра надежды. На сердце стало так тепло, внутри меня поднималось чувство благодарности к коменданту, человеку, от которого — как мне казалось — я меньше всего мог ожидать симпатии и сочувствия.

Наши жизненные дороги — коменданта, его дочерей и моя — пересекались еще неоднократно. Спустя годы, когда я работал учителем средней школы одного из районных центров Томской области, в списке учеников оказались, к моему удивлению, Валентина и Соня К., дочери моего коменданта. Валентина стала тогда моей ученицей в классе, где мне было поручено классное руководство. Много лет спустя, когда я уже переехал с женой и детьми в Томск и преподавал несколько дисциплин в школе с углубленным изучением немецкого языка, туда же пришла Валентина в качестве учительницы по биологии и преподавала обоим моим сыновьям. Как причудливо порой сплетаются судьбы!..

Здесь я должен сказать, что в ссылке меня сопровождало не только зло. Злом была система; но люди, жившие в этой системе и не изуродованные ею, были добрыми и отзывчивыми. В Сибири среди моих коллег, знакомых, учеников я нашел много настоящих друзей и сохранил о них лучшие воспоминания.

Опять наступила зима, вторая зима, которую я должен был провести в Новом Васюгане. На работе со своими обязанностями я освоился быстро. В бюро было тихо, если только кислородный сотрудник администрации и его работники не ссорились. Бухгалтерша, замкнутая женщина средних лет, сидела погруженная в свои книги и время от времени отлучалась по делам в банк.

В начале 1944 года директор дал мне особое поручение: я должен был составить план работы на предстоящую пятилетку. «Каждое предприятие разрабатывает свой пятилетний план, эти планы сначала утверждаются исполнительным комитетом, а затем отправляются в Новосибирск и, наконец, в Москву. Там они обсуждаются, и после этого утверждается план пятилетки для всей страны», — пояснил мне директор. Я попросил проинструктировать меня поточнее, и он добавил: «Ну, ты должен, так сказать, составить проект развития нашего предприятия, ну, лесного хозяйства... обдумать все возможности... увидеть перспективы... ну, ты меня понимаешь...»

Я его понял. Задание было мне как раз по вкусу, и я с жаром принялся за работу. Через два дня план был готов: наше предприятие должно было пережить небывалый подъем! Было предусмотрено производство фанеры и фанерного листа; отходы я предлагал перерабатывать

в паркетные дощечки (хотя, по правде сказать, твердой древесины на нашей территории, кроме худосочных березок, не было) и даже опилкам нашел применение — их можно было использовать в производстве деревянных блоков для настила бесшовных полов. (При составлении плана моделью мне служила квартира в Черновице: в комнатах у нас были паркетные полы, а в кухне — красноватый пол, выложенный из деревянных блоков.) Я отказался лишь от сооружения бумажной фабрики — у меня были на то веские причины... Несколько диаграмм придали моему опусу солидный вид.

Директор был явно впечатлен столь крупномасштабным планом пятилетки, и в исполнительном комитете мои потемкинские деревни понравились всем настолько, что через несколько дней я получил заманчивое предложение. «За определенные правонарушения бухгалтерша вскоре будет привлечена к ответственности», — поведал мне директор в ее отсутствие, и я мог бы занять это освобождающееся место. Бухгалтеры в то время пользовались большим уважением и получали неплохую зарплату... Маленький чертик опять пытался ввести меня в искушение, но на этот раз я не позволил себя соблазнить. «Я ничего в этом не понимаю», — отнекивался я, и хоть директор пытался меня уговаривать («Да это же совсем просто: все, что от тебя требуется, — это записывать доход и расход»), я был непреклонен. Латышка еще до лета работала в бюро, о ее дальнейшей судьбе мне ничего не известно.

Неожиданно меня снова отправили в дорогу. В конце февраля я должен был доставить лесорубам, которые работали на лесосеке недалеко от деревни Кунтики, хлебные карточки на следующий месяц.

Снабжение лесорубов хлебными карточками и выплата им зарплаты входили в обязанности кассирши, но жена директора, которой в таких случаях всегда выделялись сани, на этот раз не поехала (возможно, у нее было плохое настроение, или она была перегружена домашней работой). И потому отправиться туда должен был я (а кто, если не я!) и, разумеется, на своих двоих.

Мне показали пеший путь длиной в тринадцать километров (санная дорога, ведущая в Кунтики окольными путями, была длиннее). Стоял холодный, туманный зимний день, низкое солнце было плотно закрыто облаками. Тропинка шла по лесной просеке, заросшей густым подлеском. Я проделал уже половину пути, как вдруг остановился: прямо через дорогу пролегла канава глубиной метра три и такой же ширины. Перекинутый через нее ствол дерева служил мостиком. Ствол был довольно толстый, но... В валенках идти по нему было бы легко, но на гладких подошвах моих ботинок?.. Соскользнуть вниз было равносильно смерти, потому что я или вывихнул бы себе ногу, или — что еще хуже — попал бы под снежную крышу незамерзшего ручья. Даже если бы я остался невредим, вряд ли смог бы выбраться по крутым склонам оврага, покрытым глубоким снегом. «Только спокойствие, — сказал я себе, — бревно толстое, на твердой земле ты можешь пройти и по более узкой полоске. Не бойся! Не останавливайся! На бревно! Не смотреть вниз! — командовал я себе. — Иди на ту сторону!»

Наконец, я вышел из леса: передо мной раскинулось необозримое пространство. По ровному снежному покрову, под которым, очевидно, находилось болото, я шел узкой прямой тропинкой; через час я добрался до светлого лесочка, а вскоре был уже и в Кунтиках. Быстро выполнив свое поручение, той же дорогой я отправился в обратный путь, поскольку до наступления темноты хотел вернуться домой. Пошел снег... Опять передо мной лежало открытое пространство с прочерченной на горизонте темной полоской леса. Снег все усиливался, и вот началась настоящая снежная вьюга. Я ускорил шаг; так как снег заметал узкую тропинку; было бы скверно, если бы я сбился с дороги и не попал на лесную просеку.

Вероятно, я прошел треть пути по открытой местности, когда следы, показывающие мне дорогу, стали едва заметны. Только слабые, странным образом слегка выступающие над поверхностью отпечатки ног обозначали колею, но и они готовы были вот-вот исчезнуть. Темнело... Я раздумывал, не будет ли более благоразумным вернуться по собственным следам и переночевать в Кунтиках, как вдруг заметил сквозь метель темную точку вдали.

Точка приблизилась и обрела форму путника, который шел мне навстречу! Еще четверть часа, и мы протащились мимо друг друга уставшие, но одинаково радостные, ведь теперь свежие глубокие следы показывали нам обоим правильный путь. По просеке я шел не торопясь, здесь снегопад не в силах был мне навредить. Вскоре я перебрался по стволу дерева, который вел через овраг; на этот раз я чувствовал себя уверенно. Совсем скоро я был дома.

Мне довелось еще раз добираться в Кунтики, правда, на этот раз на санях. В марте я отправился туда, чтобы заменить нормировщика, который через месяц должен был уволиться. Недалеко от лесосеки, располагавшейся южнее Кунтиков, в лесу одиноко стояла низенькая избушка, которая служила домом восьмерым лесорубам. К этим грубым мужчинам, напомиавшим мне Голландца Михеля из сказки Гауфа, я должен был поселиться девятым жильцом. Единственная комната была скудно обставлена: два стола, несколько скамеек, железная печка; вдоль стены длинные нары, на которых мы спали, тесно прижавшись друг к другу, как шпроты на сковородке. Дымящая «коптилка» (керосинка без стекла, сделанная из консервной банки) одаривала слабым светом задымленное помещение.

Каждое утро мужчины уходили на работу; я оставался один в доме, откалывал несколько тонких дровишек от одной из деревянных колод, которые валялись перед домом в снегу, затапливал печку и садился за свои расчеты. Вечером, грохоча, в комнату вваливались лесорубы с заледенелыми усами на раскрасневшихся от мороза лицах, в ватных полушубках и валенках, полных снега. Один из мужчин на улице несколькими мощными ударами крошил колоду, закидывал полную печь поленьев и разводил огонь так, что пламя шипело, дрова трещали, а железная печка раскалялась докрасна. Потом лесорубы набрасывались на ужин — мясо, сало, картошка, хлеб и, конечно, чай.

Пока готовилась еда, бригадир диктовал мне количество и массу поваленных за день стволов деревьев, а я переводил их в кубометры. Лесорубы обступали меня и с изумлением глядели на странное устройство — логарифмическую линейку, с которой я ловко управлялся. Каждый хотел знать свою дневную выработку; они дивились тому, как быстро я выдавал результат. Свои расчеты я записывал на расчерченных под логарифмические таблицы листах, которые мне выдали в Новом Васюгане. На самом деле мне жаль было тратить эту хорошую бумагу, потому что было довольно много другой макулатуры, которая сгодилась бы для этих целей.

Поначалу лесорубы относились ко мне с подозрением: не съедаю ли я что-нибудь из их продовольственных запасов, пока остаюсь один, но потом они прониклись ко мне доверием. Мне нравилось, когда вечером они возвращались домой и наполняли комнату теплом и шумом; оставаясь один, я чувствовал себя покинутым и каким-то беззащитным в этом молчаливом лесу. Когда настало время мне уезжать, эти грубые мужчины неохотно меня отпускали.

По возвращении в Новый Васюган мне пришлось поменять жилье; я стал квартировать у рабочих — ссыльных латышей — и наконец-то снова смог спать в кровати.

Весна вступила в свои права, и вместе с ней настало время сажать картошку. Нашему предприятию было выделено обширное поле, и рабочие, и служащие — все, в зависимости от потребностей, могли взять себе для обработки полоску земли. На своих пяти сотках, — которые на этот раз находились не в тени, — я посадил картошку и немного морковки. Земля была плодородная, и я смел надеяться на хороший урожай.

К заботам о пропитании добавилась еще одна — забота об одежде. Единственные штаны, которые у меня оставались, висели на мне лохмотьями. Добрые соотечественники, у которых мой жалкий вид вызвал сочувствие, подарили мне ковер. Я радовался как ребенок, когда из грубой, но зато очень прочной ткани ковра мне сшили брюки. Хоть я и походил в этих штанах на флибустьера, все же меня немного расстраивал их бесформенный вид. «Они долго не изнасятся», — думал я оптимистично, но «встречают по одежке, а провожают по уму»... Ткань, вероятно, была уже довольно изношенной, кроме того, она постоянно терлась во время ходьбы: короче говоря, через пару месяцев мои новые брюки изнасились. Длинные, расплзающиеся прорехи латать было бесполезно: нитки не держались на слабой ткани, и швы сразу же расшодились.

Теперь я мог бы купить новую ткань со своей зарплаты — в магазинах были разные товары, — но с началом войны свободную торговлю отменили. Все промышленные товары и продукты питания строго нормировались и продавались только по талонам. Наконец я стал выглядеть настолько изношенным и оборванным, что даже сам не мог на себя смотреть. Утром, как только я вставал с постели, я тут же поскорее влезал в свое длинное пальто, чтобы скрыть полуголые ноги; на работе я тоже оставался сидеть в пальто и снимал его лишь вечером, когда заползал под одеяло. Я словно бы отупел и на все махнул рукой.

В один из дней я был вызван к коменданту. Что бы это значило? Что-то хорошее? Плохое? Комендант окинул меня взглядом с ног до головы и без лишних слов выписал ордер на ткань для рубашки и штанов, а также на обувь. Спасибо, комендант! Но откуда он узнал, почему велел мне

прийти? Кто рассказал ему о моей нужде? Кто-то из коллег по службе или кто-то из ссыльных латышей, что жили со мной? Наконец-то я смог одеться: светло-серая рубашка с накладными карманами, коричневые брюки и мягкие кожаные ботинки с вшитыми голенищами из мягкого белого полотна — по тем временам я был одет совсем неплохо. Я был тщеславен и достаточно глуп, чтобы радоваться восхищенным взглядам, которые теперь бросали в мою сторону.

Июль 1944. Картофельное поле располагалось неподалеку. И теперь каждый вечер в своем старом «шикарном» костюме — пиратских штанах и рваных сапогах — я отправлялся на поле окучивать хорошо взошедшую картошку и пропалывать морковную грядку. Комары, что прилетали из соседнего таежного леса, по-настоящему пировали на мне, но с этим пришлось просто смириться. (Странно, но местные жители страдали от комаров меньше, чем мы, «иммигранты», родом из мест, где комары не водятся.)

ADIEU, ТАЙГА!

ПУТЕШЕСТВИЕ С МАЛЕНЬКИМИ ПРЕПЯТСТВИЯМИ

В середине августа меня вызвал к себе комендант и сообщил, что согласно новому распоряжению предусматривается существенная льгота для ссыльных с техническим образованием. Отныне им позволено селиться в областном городе Томске и работать по специальности.

— Направление в Томск я тебе уже подписал, — добавил он при этом.

Я был ошеломлен.

— Нет, — взмолился я, — нет! Позвольте мне остаться здесь! Я посадил пять соток картошки, в первый раз я смогу есть досыта. Что я буду делать в Томске без еды?

— Ты не дурак, — возразил он спокойно, — ты пробьешься.

В задумчивости побрел я домой. До сих пор я видел от коменданта только добро. И решил последовать его совету. Неожиданно все стало складываться само собой: новый бухгалтер, который приехал на место нашей латышки — она уже к тому времени покинула бюро, — предложил мне за мое картофельное поле 500 рублей. Я обрадовался этим деньгам, ведь в любом случае картошку мне пришлось бы оставить. Но морковь я приберегу для себя; я решил ее выкопать и взять с собой в качестве провизии в дорогу.

На сборы много времени, разумеется, не потребовалось. Стеганое одеяло и подушку я затолкал в большой деревянный сундук, который изготовил для себя еще на комбинате; в маленький чемодан я бросил пальто, рубашку, шапку, отцовскую безопасную бритву, кастрюлю, мешок морковки (примерно ведро), нож, ложку — и вот я уже готов отправиться в путь.

В августовский солнечный денек я сел на речной пароход «Таболяк» (повсюду его называли «Кривой Таболяк», потому что он немного заваливался на один бок), и занял уютное местечко на палубе, прямо рядом с машинным отделением; я знал, что по ночам там будет теплее. И вот я сел на сундук и огляделся. Из всех ссыльных, что оставались в Новом Васюгане, я был единственным, кто получил ордер на выезд.

Вода вспенилась от лопастей колес, и речной пароход отчалил от берега. Adieu, Новый Васюган! Adieu, комендант! Adieu, комбинат и «ЛесТоп»! Adieu, дружественные суровые мужчины! Adieu, тайга! Тот, кто бродил по твоим заснеженным тропам и болотистым топям, уходит. «...Он еще вернется!» — шевелились во мне сомнения и страх будущего. Позади меня оставались ужасы Васюгана; впереди ждала неизвестность.

В монотонном ритме глухо стучала машина. Берега, окаймленные густыми ивовыми зарослями, скользили мимо ровно, безмолвно и настолько однообразно, что казалось, будто мы движемся по кругу. Пора было готовить ужин. По исключительно простому рецепту — морковь плюс вода — я сварил морковный суп. От 500 граммов хлеба, которые у меня были с собой, отрезал два тонких ломтика. Благословенная трапеза! Потом я постелил на грязный пол свое пальто, вместо подушки подложил под голову мешок с морковкой и под стук машин погрузился в сон.

Прошло несколько дней. Берега, разрезанные Васюганом, скользили по обе стороны, а он лениво катил свои черные воды через мрачные просторы. Несколько раз мы причаливали к берегу: над ивовыми зарослями на фоне бледного неба виднелись очертания беднейших деревянных построек. Переселенцы волокли по трапу на корабль узлы, баулы, бочки, ведра; в последнюю очередь на борт принимали детей. Потом начинала выть сирена и заглушала вопли и крики стоявших на берегу. «Тоболяк» отчаливал, шум стихал, и только стук машин ударами пронзал торжественную, почти жуткую тишину одиночества.

Свои 500 граммов хлеба я давно съел: как ни старался я отрезать ломтики потоньше, но и последние крошки были съедены. Оставалась лишь морковка, но и содержимое морковного мешка постепенно сокращалось. В один из вечеров я довольно поздно лег спать. Сонно моргая, я мог еще различить ноги спешащих матросов. Как вдруг все огни погасли — короткое замыкание! Непроглядная темень... Внезапно я почувствовал резкий рывок под головой, я потянулся туда — пусто: мой мешок исчез! Я подпрыгнул, словно меня укусил тарантул, я закричал, заплакал: «Мой мешок! Моя морковка! Теперь мне придется голодать!» Словно сумасшедший, я бросился через темноту, но корабль был окутан безмолвием. Я споткнулся и упал. Это не было наигранно, как когда-то в Сталинке, когда меня осматривала медсестра, нет, это был припадок, настоящий истерический припадок. «Мой мешок! Мой мешок!» Вдруг стало светло. Плача и причитая, я вернулся на свое место, и что я вижу: мой мешок с морковкой лежит на месте! Подбросили! Жулики из корабельной команды заприметили, как заботливо я прячу под голову этот мешок, и заподозрили в нем Бог знает какие сокровища. Для грабежа они придумали удачный план с коротким замыканием.

Я попросил присмотреть за моими вещами семью переселенцев, которые расположились рядом, и поднялся на палубу. Мы двигались уже вверх по течению Оби; спустя долгое время я снова видел светлые речные воды. Одиночные баржи, буксиры, лодки проплывали мимо. Я облокотился на перила и с тоской устремил свой взгляд к могучей реке. Мне вспомнилось время, когда, вот так же опершись на перила, я радостно следил за течением другой великой реки — Дуная. Тогда, в середине 30-х годов, мы, несколько студентов из черновицкой группы в Брно, после окончания учебного года ради разнообразия захотели покататься на пароходе. На борт корабля мы зашли в Братиславе, около полуночи добрались до Будапешта — впечатление от волшебного, мерцающего тысячами и тысячами огней города осталось для меня незабываемым, — на следующий день мы прибыли в Белград, проехали через железные ворота и, наконец, отправились в трехдневную поездку по суше в румынский порт Джурджу. Билеты у нас были, конечно, самые дешевые. Днем мы торчали на палубе, ночью нам разрешали спать в столовой. Из четырех поставленных друг к другу стульев получалось великолепное ложе, и я безропотно клал голову на обивку, еще теплую от чьих-то ягодич. После Джурджу мы отправились в Бухарест по румынской железной дороге. Кондуктор окатил нас градом отборной ругани — вот мы и дома! Добро пожаловать на Родину! Но, по сути, это было справедливо, поскольку мы, не снимая обуви, весьма нахально растянулись на скамейках. Потом мы поехали на румынский курорт Эфорие, где провели три восхитительные недели и, загорелые, полные свежих впечатлений, вернулись домой в Черновиц.

«Тоболяк» причалил в Парабеле. Некоторые пассажиры, поднявшиеся здесь на борт, привлекли мое внимание одеждой и произношением. Они оказались соотечественниками, которые были депортированы в свое время с другим этапом в Парабельский район, и теперь им тоже было разрешено ехать в Томск. Прошедшие три года они пережили легче, поскольку не страдали от такого чудовищного голода, как мы. (Среди всех районов, куда отправляли ссыльных, Васюганский был самым ужасным.) В Колпашево, маленьком городке на Оби, мы покинули «Кривой Тоболяк» и пересели на пароход побольше, который должен был доставить нас сначала в Новосибирск. Прямого сообщения Колпашево–Томск тогда еще не было. Свой провиант я пополнил еще в Парабеле: мое меню состояло теперь из картофельной каши и морковки, и я снова мог проговаривать свою поговорочку.

Новосибирск встретил нас мягкой, безветренной погодой на исходе лета и безоблачным небом. В Томск мы должны были отправиться только на следующий день, и я решил за это время осмотреть город. На берегу валялись разбросанные бревна, бочки, трубы и всякий мусор. На одном из бревен сидела бабушка и — я не верил своим глазам — торговала пирожками! Купить, набить полный рот и наестся до отвала!

Словно притянутый магнитом, я двинулся в сторону бабушки. На дороге у меня встало трое парней, которые громко спорили между собой. Я сделал попытку обойти шумную компанию, но неожиданно попал прямо внутрь потасовки и получил несколько подзатыльников. «Проклятые олухи! Висеть вам на виселице!» — выругался я смачно про себя и, пожирая пирожки глазами,

двинулся к бабушке; полез в нагрудный карман — опля! — он был пуст! Я огляделся: братишки улепетывали. Конечно, с первого взгляда на мою оригинальную внешность, на мокасины с белыми обмотками они признали во мне деревенщину. Я был легкой добычей. Они украли у меня последние восемьдесят рублей и, что намного хуже, ордер. Без этой бумажки с гербовой печатью я был вне закона — другого документа, удостоверяющего мою личность, у меня не было. Меня могли бы принять за беглого эка или преступника, объявленного в розыск. «Мне не остается ничего другого, как сдаться», — решил я обреченно после некоторых раздумий и попросил показать мне дорогу в управление НКВД. Меня сразу посадят в камеру? Мое сердце сильно стучало, когда я открывал тяжелую дверь зловещего здания. Было такое чувство, словно передо мной разверзается бездна.

Но все вышло совсем не так! В управлении от души посмеялись над моими злоключениями и поверили мне на слово! Потом выписали мне новый ордер и выдали девяносто рублей на командировочные расходы. Наконец — и это было невероятно — показали мне столовую, где разрешили купить шоколада и яичного порошка! (Гораздо позже я понял, что причина столь нехарактерного для этого ужасного органа власти поведения крылась в благоприятном развитии внешнеполитической ситуации: отношения Советов с западными державами в 1944 году существенно улучшились, и это обстоятельство коснулось и вашего покорного слуги. Яичный порошок и шоколад были, разумеется, из американских гуманитарных поставок.)

В ДЗЕРЖИНКЕ ПОД ТОМСКОМ — НАЧАЛО НОВОГО ЖИЗНЕННОГО ПЕРИОДА

Мой ордер был выдан на жительство в Дзержинке²⁸, пригороде Томска. Эта деревушка находилась в восьми километрах, и чтобы добраться до города в то время, когда еще не был построен мост через Томь, нужно было переправляться на пароме. О реке Томь, на правом берегу которой расположился город, обязанный ей своим названием, существует легенда. Однажды Тома, прекрасная дочь хана Басандая, со своими подружками гуляла по уединенным тропинкам отцовского леса, слушая пение птиц и собирая цветы. Там встретила она Ушай, молодого охотника, который заблудился в лесу. Тома и Ушай, воспылав друг к другу горячей любовью, стали часто встречаться в лесу. Однажды хан Басандай, тайно следивший за своей дочерью, застиг влюбленных врасплох. Корыстолюбивый хан, который обещал свою дочь Тому в жены богатому соседу, крайне разгневался и прогнал молодого охотника. Тома не могла жить без своего возлюбленного и бросилась в реку, носящую с тех пор ее имя.²⁹ И Ушай нашел смерть в волнах реки, которая, поглотив его, стала называться Ушайкой.

Основание Томска в старых грамотах датируется 1604 годом и выпадает на время правления царя Бориса Годунова. До тех пор земли вдоль Томи были заселены татарскими племенами. Успешные военные действия и умелый альянс с враждующими между собой племенами позволили Москве господствовать в этом регионе. Томск постепенно превратился в важный торговый центр, а когда в конце XIX века там был построен университет, город стал культурным центром Сибири. О процветании жителей в то время и сегодня свидетельствуют многочисленные деревянные постройки, украшенные балкончиками, башенками, фронтонами, богато оформленные резьбой и притягивающие к себе внимание фольклористов. Когда в начале XX века Транссибирская железная дорога, связавшая европейскую часть России с Дальним Востоком, была построена в стороне от Томска, в развитии города начался застой. В то же самое время неизвестный до этого городишко Новониколаевск, благоприятно расположившийся сразу по двум транспортным артериям — по Оби и по новой железнодорожной ветке, — стал быстро расти и вырос до современного Новосибирска.

Левый берег Томи тянется плоской равниной, и только на значительном расстоянии от реки земля сначала плавно, а потом довольно круто начинает подниматься вверх, образуя холм. Деревушка Дзержинка, которая на этом холме находилась, была местом расположения трудовой колонии для несовершеннолетних преступников мужского пола со всеми обычными для такого учреждения атрибутами: высоким дощатым забором с колючей проволокой и сторожевыми башнями на всех углах. Остальные постройки в деревне, за исключением примитивной обувной фабрики, кожевенного завода, средней школы для деревенских детей и здания администрации, служили в качестве жилых домов для персонала трудовой колонии.

Один из этих домов — мрачный, затхлый двухэтажный сруб, прозванный жителями деревни «сорокаквартирником», — изначально сооружался как общественное здание: по двум сторонам длинных, едва освещенных коридоров на первом и втором этажах находились двери, которые вели в соответствующие им комнаты. Единственное окно каждой из комнат выходило на дорогу

или во двор. Все сооружение выглядело как тюремная система с одиночными камерами по обе стороны коридоров. Общественная кухня возле туалета завершала обустройство коммуналки, чье описание было достойно бальзаковского пера. В этом доме коллективной нищеты, зависти и раздоров мне выделили комнату, в которой уже жила семья латышей. Как товарищи по несчастью — латыши, конечно, были ссыльные — мы быстро нашли общий язык, и я был рад, что после долгого времени снова мог поддерживать отношения с европейцами. Латыш, лет сорока, инженер по профессии, работал на кожевенном заводе; его жена вела домашнее хозяйство и заботилась о пятилетней девочке по имени Инта, благовоспитанной и послушной.

Холмистые окрестности Томска великолепны, и когда я после стольких лет, проведенных в унылом болотном крае, отправился в лес, что расположен справа от Дзержинки, увидел могучие ели, кедры и сосны, услышал звук бьющего ключа, на сердце у меня стало так тепло, что на какое-то время я забыл свое горе. Но потом вдруг ко мне пришло осознание вопиющего противоречия между священной чистотой природы и уродливой действительностью, в которой я пребывал. И лес показался мне засохшим...

Мне был выдан ордер, по которому я был назначен инженером на обувную фабрику. Однако было сильным преувеличением называть это предприятие «обувной фабрикой», поскольку изготавливали там обычные домашние тапочки, которые вдобавок имели слишком длинную и узкую форму и потому вряд ли могли подходить для обычных, нормальных ног. Производство брака отнюдь не ограничивалось одной фабрикой в Дзержинке: «Нелепые концепции о том, что следует понимать под рационализацией производственного процесса, приводили к постоянному ухудшению качества потребительских товаров. Существовало множество предприятий, которые годами и десятилетиями выпускали бракованную продукцию, которую никто не покупал. Политбюро приняло решение о необходимости закрытия таких предприятий, выпускающих неходовой товар. В качестве примера хочется привести попытку закрытия обувной фабрики в Свердловске. В течение пятнадцати лет там производилась обувь столь низкого качества, что торговля отказывалась принимать поставки, вследствие чего всю продукцию, минуя магазины, отправляли на свалку. Однако же при обсуждении предложения о закрытии данного предприятия в Политбюро случилось неожиданное. Член Политбюро Кириленко высказал возражение: «Как мы, товарищи, можем так поступать с рабочим классом? Если наша техническая интеллигенция плохо делает свою работу, почему рабочие должны страдать?» Это был жирный гвоздь в крышку гроба. Никто и никогда больше не вспоминал спорное постановление, и приостановленное было производство брака вновь продолжилось.³⁰

Я бесцельно ходил кругами по рабочему помещению и с тоской смотрел на станки допотопных времен, в которых я мало что понимал. Я был очень неуверен в себе и чувствовал себя ненужным. Рабочие смотрели на меня пылливо и, как мне показалось, насмешливо. Все это было очень неприятно, и я решил осмотреться в поисках другой работы.

Мой новый знакомый господин А., пожилой русский еврей, который в трудовой колонии руководил оркестром заключенных, проявил ко мне отеческую заботу. Когда он узнал, что я играю на фортепиано, то сказал: «Музыканты нужны везде», и пообещал мне найти работу в «зоне» — так в деревушке называли колонию. Оказалось, что в школе для несовершеннолетних преступников при колонии были вакансии на все преподавательские должности. 16 сентября 1944 года благодаря рекомендациям господина А. (позднее, когда мы оба жили уже в Томске, он до конца своей жизни мне бескорыстно помогал) школьная дирекция взяла меня на работу в качестве учителя математики, физики и черчения. В тот памятный день произошел решительный поворот в моей жизни. Я приобрел профессию, которая стала делом всей моей жизни и которой я посвятил сорок лет. Учитель — это, вероятно, мое жизненное призвание. Такие мои качества, как способность к сочувствию, острый взгляд и, главное, чувство юмора, буквально предопределили для меня эту профессию.

Школа находилась внутри «зоны», и чтобы я мог туда попадать, мне выдали удостоверение сотрудника НКВД. Мой доход существенно увеличился: учительская зарплата (сюда входила 20-процентная надбавка за отягчающие условия) была значительно выше моего предыдущего заработка.

Занятия в школе колонии должны были начаться 1 октября; у меня еще было две недели, чтобы подготовиться к работе. В подвальном помещении школы я нашел сваленные небрежно в кучу физические приборы; вероятно, они попали сюда в результате эвакуации с западных территорий, которым угрожала немецкая оккупация. Осиротевшие и заброшенные инструменты просто притягивали меня, и я с рвением принялся за работу. Целые дни теперь я проводил в заваленном банками, склянками, доверху набитом инструментами подвале, очищая приборы

от пыли и грязи, собирая вместе рассыпавшиеся детали, ремонтируя и приводя их в рабочее состояние.

Обычно к работе особого рвения я не проявлял, будь то труд в колхозе или бесконечные глупые расчеты в бюро, но на этот раз я работал действительно с полной отдачей. Казалось, передо мной всплывает затонувший мир. Через эти приборы, которые я с любовью восстанавливал, со мной говорило время беззаботных школьных дней и студенческих лет в Брно. Разнообразные физические явления дарили мне утешение в том, что, по крайней мере, над законами природы Сталин и его компания были не властны.

Большевистские идеологи мечтали, чтобы законы природы и наука служили насилию. Об этом свидетельствует клеветническая кампания, развернутая в те годы против «псевдонаук»: теории относительности, генетики и их основателей — Менделя, Вайсмана и Моргана, — позднее против кибернетики. Как «pars pro toto» (часть вместо целого (лат.). — Прим. Е. Ш.) воспринимается цитата из вышедшей в Москве «Краткой истории физики в России», которая иллюстрирует не только умонастроения, но и большевистский жаргон того времени: «Прогрессивная философия диалектического материализма, разработанная великими корифеями и классиками марксизма-ленинизма Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, является фундаментом советской физики. Она служит советской физической науке высоким идейным ориентиром, что позволяет ей успешно противостоять идеалистическим искажениям, которые нередко присущи буржуазной науке»³¹.

Свое отражение «прогрессивная философия» нашла в русском «Кратком философском словаре»³², куда, среди прочего, вошли немецкие ученые со следующими характеристиками:

Эйнштейн, Альберт (с. 516): «...Эйнштейн игнорирует фактическую основу теории относительности. <...> Исходя из неправильной интерпретации общей теории вероятности, он приходит к реакционным, антинаучным выводам... Ошибки Эйнштейна показывают то, как правильная физическая теория уродуется в обществе, пораженном прогрессирующим гниением, и подчиняется идеализму...» (В другом, выпущенном самиздатом трактате, автору удается легко, не вдаваясь в тонкости высшей математики, «опровергнуть» теорию относительности. Представление о характере этой изданной в 1991 (!) году брошюры дает следующий отрывок: «С тех пор (1919. — Прим. авт.) Эйнштейн и его теория пользуются благосклонностью мирового сионизма, которому они и служат и который использует их для достижения своих целей, причем каждое критическое высказывание в адрес теории относительности квалифицируется как „антисемитизм“»³³.

Фихте, Иоханн Готтлиб (с. 561): «...Фихте воспекает абсолютную свободу воли, верит в Бога и бессмертие души... (коммунистическая идеология видит в этом смертный грех. — Прим. автора). Особенно реакционные, идеалистические идеи Фихте разрабатывает в отношении понятий „право“ и „государство“... Важнейшей задачей государства он считает сохранение крупных усадеб, промышленности и торговли...»

Фрейд, Зигмунд (с. 569): «...Реакционное содержание учения Фрейда раскрывается в смехотворных попытках „объяснить“ социальные проблемы... Немецкие фашисты опирались на учение Фрейда для оправдания своей человеконенавистнической практики...»

Кант, Иммануил (с. 172): «...Философия Канта, как в прошлом, так и в настоящем, является олицетворением реакционной, буржуазной идеологии, а также оппортунизма (приспособленчества) внутри рабочего движения... Предатели и отступники из лагеря реформистов опираются на философию Канта, превращая социализм в недостижимый, абстрактный идеал, в некотором смысле „вещь в себе“, в который можно лишь верить — и больше ничего...»

Ницше, Фридрих (с. 337): «...крайне реакционный немецкий философ, представитель идеалистического мировоззрения, открытый апологет эксплуатации (рабочих. — Прим. авт.) буржуазией, выступал за политику агрессии, прямой предшественник фашистской „идеологии“...»

Шопенгауэр, Артур (с. 590): «...крайне реакционный немецкий философ, представитель идеалистического мировоззрения... Его волюнтаризм и человеконенавистничество стали источником хищнической „идеологии“ немецкого фашизма...»

Шпенглер, Освальд (с. 591): «...немецкий философ, представитель идеалистического мировоззрения крайне реакционной направленности, <...> предтеча фашизма...»

Показательна метаморфоза, которой в Советском Союзе подвергся Грегор Мендель. В эпоху Сталина он фигурирует как «австрийский монах», основоположник «ошибочного метафизического учения о наследственности», который обнаружил «пресловутый, не имеющий силы „гороховый закон“»³⁴; после событий 1968 года в Чехословакии (эра Брежнева) он превращается в «выдающегося чешского ученого»³⁵ и заканчивает свою карьеру как скромный «австрийский естествоиспытатель»³⁶ (Горбачевская эра).

Ключ к пониманию термина «менделизм» можно найти в «Кратком словаре иностранных слов»: «Менделизм — реакционное направление в биологии, являющееся подгруппой вайсманизма–менделизма–морганизма, названо по имени австрийского монаха Менделя (1822–1884), который проводил попытки скрещивания различных растений. Менделизм как фундамент буржуазной генетики был основан врагами дарвинизма, которые фанатично преувеличивали значение частных случаев опытов Менделя с горохом. Менделизм опирается на метафизические представления, что каждый признак определяется особым фактором наследственности, как и на то, что формирование наследственности осуществляется путем механических комбинаций этих неизменяемых факторов в случайном порядке. Менделизм — это псевдонаучное воззрение, которое отрицательно влияет на сельское хозяйство тем, что ориентирующий на него крестьянин пассивно надеется на „счастливую случайность“, а точнее говоря, надеется откопать „клад“. Тимирязев К. А., Мичурин И. В. и другие передовые русские ученые ведут непримиримую борьбу с менделизмом. Странники мичуринской биологии во главе с Лысенко Т. Д., членом Академии наук, окончательно разгромили менделизм, продемонстрировав его научную несостоятельность и враждебность по отношению к прогрессивной науке»³⁷.

Бесцеремонное стремление большевистских идеологов любой ценой поддержать престиж советской науки и опорочить «буржуазную», а также их болезненно обостренная потребность действовать сыграли с ними злую шутку как-то раз в 50-е годы. Один предприимчивый американский репортер опубликовал тогда в американской газете новость о том, что местному ученому удалось построить аппарат, который посредством исключительно механической конструкции (!) способен отменить гравитацию, и якобы испытания показали, что устройство может подниматься уже на несколько метров. Эта приманка была немедленно проглочена нашими чересчур умными идеологами, и со ссылкой на американскую заметку в одной из московских газет они возвестили *urbī et orbī* (городу и всему миру (лат.). — Прим. Е. Ш.), что в Советском Союзе уже некоторое время проводятся исследования, целью которых является устранение гравитации механическим путем. Далее говорилось, что эксперименты привели к успешным результатам и о дальнейших событиях общественность будет информироваться. Этот случай напоминает репортерскую утку Карла Крауса о воющей из могилы собаке, которую в свое время запустила венская пресса.

Директор школы, видя мое рвение, выделил мне маленькую комнатку, которую я мог теперь приспособить под физический кабинет. По моим чертежам были сделаны настенные шкафы, в которые я бережно расставил все приборы, упорядочив их по разделам физики. Мне очень нравился кабинет, и директор тоже был доволен. Я с удовольствием оставался там: теперь у меня было настоящее убежище, в некотором смысле моя суверенная территория, где я со своими приборами вел немой разговор. В это же время я составлял учебный план на первое полугодие; заведующая учебной частью Клавдия И., эвакуированная из Ленинграда, одинокая, очень образованная женщина, дала мне для этого инструкции. Тщательная разработка плана показалась мне излишне педантичной (все столбцы, обязанности и сроки их выполнения нужно было четко пронумеровать), но критику я воспринял благоразумно и сделал даже больше, чем нужно: горизонтальные и вертикальные линии я отчертил цветными карандашами; мой красочный опус смотрелся замечательно.

Где-то в середине сентября в Сибири выкапывают картошку, и в это время колонисты (так называли юных преступников) работали под охраной на полях. С началом учебного времени распорядок дня менялся: до полудня колонисты учились в школе, во второй половине дня работали в столярных мастерских. Главными среди персонала были воспитатели: они следили за тем, чтобы колонисты соблюдали предписанный порядок, сопровождали их в столовую, в школу, в мастерские и, наконец, заботились о проведении досуга. В мое время это были сильные, опытные мужчины, некоторые из них сами вышли из колонии Макаренко³⁸. Один из охранников, татарин, который каждый вечер занимался с колонистами народными танцами, принес мне клавирный аккомпанемент. Я занялся этим с радостью и при этом смог рассмотреть своих будущих учеников. Внешне они почти не отличались друг от друга: все коротко стрижены,

блузы и штаны цвета хаки. Но глаза! Большинство смотрели уныло и равнодушно, некоторые — хищно прищурились, и лишь у немногих был по-детски открытый взгляд. Первое октября приближалось, и вот со стучащим сердцем я вошел в класс, где пятьдесят пар глаз по-звериному беспощадно разглядывали меня. Обучение в колонии имело свои особенности: ученикам не выдавались учебники, потому что дирекция школы не без оснований опасалась, что книги в руках колонистов очень быстро превратятся в бумагу для сигарет. Соответственно не было и никаких домашних заданий, тетради учащимся выдавались только для работы в классе. Колонисты должны были усвоить тему исключительно во время урока, и самым удивительным было то, что даже в этих условиях многие приобретали достаточные знания. Да, они не были тупицами, у каждого из них был свой путь, который привел его в колонию.

Заведующая учебной частью направляла меня в моих первых шагах и, сама являясь математиком, присутствовала на моих уроках математики. Боже правый! Чего я только после них не наслушался! И что я нерационально использую доску, и что формулы, пока я их пишу, закрыты моей спиной — а я должен стоять боком к доске и писать вытянутой рукой; и что я не должен слишком долго задерживаться с одним учеником, который никак не может понять простой вопрос, в то время как другие от скуки делают пакости, — я должен постоянно держать весь класс на виду, и все в таком роде. Приходя домой, я падал на кровать и жалобно выл — от злости. Нет, не на Клавдию И.: она была права! От злости на себя за то, что я так неумело все делаю и так глупо себя веду. Клавдия И. еще не раз присутствовала на многих моих уроках, шлифуя мои навыки, направляя и постепенно раскрывая для меня основы педагогики. Этот тренинг, наблюдательность и личный опыт сделали, наконец, из меня учителя.

Большевистская идеология накладывала свой отпечаток не только на содержание, но и на форму советской педагогики. Процесс воспитания оценивался не по результату, а по количеству проделанной работы. Хорошим воспитателем считался тот, кто провел много заседаний и «индивидуальных бесед» с учащимися и т. д... Что в итоге из этого получалось, было уже не так важно. «Я убеждала его полтора часа, и что же: он опять...», — жаловалась учительница на педагогическом совете, и педагогический состав участливо поддакивал ей, кивая головами. Да, моя дорогая, именно назло этой пытке, длившейся целую вечность, он будет делать это снова... Хорошо и, в особенности, много говорить — в этом большинство советских педагогов видели свою главную задачу; хорошо молчать — лишь некоторые. Инфицированный большевистской идеологией воспитатель судорожно старался навязать противнику свою точку зрения и быстро удовлетворялся, когда замученный им собеседник наконец-то выдавливал из себя пару утвердительных слов (сказанное не относилось к воспитателям колонии).

И учителя, и воспитатели, поощряя мою внеурочную деятельность в зоне, советовали соблюдать осторожность в общении с колонистами: можно ли доверять карманникам? И чтобы подчеркнуть значимость своих предупреждений, рассказали мне о нескольких происшествиях: начинающий учитель, новичок в колонии, чтобы следить за временем, положил свои часы на учительский стол и увлеченно излагал историю рабочего коммунистического движения, вышагивая взад-вперед, время от времени поглядывая на часы. Когда в очередной раз он взглянул на них, его глаза наполнились слезами: его время «вышло» (es war die Zeit für ihr vorbei, здесь игра слов: Zeit — это и время, и часы. — Прим. Е. Ш.). Даже опытные педагоги не были застрахованы от «мастерства» своих учеников. Немолодая дородная учительница, удобно расположившись за учительским столом, выскользнула из тесных туфель. На уроке она вдохновенно декламировала стихи... Домой она шла босиком.

Но я еще не успел забыть свои новосибирские приключения и благодаря этому опыту стал мудрее: в накладные карманы своей блузы я больше ничего не засовывал, а кошелек прятал в карман брюк. «Сюда они не доберутся», — думал я самонадеянно. Но вскоре я убедился, что недооценивал мастерство своих юных друзей: в один прекрасный день, похлопав себя по карману, я обнаружил, что он пуст. Выворачивать карманы они умели более ловко, чем мошенники из Новосибирска, — без потасовок и подзатыльников. На самом деле жалел я лишь о хорошем кожаном кошельке, который был у меня еще из дома; утрата его содержимого — нескольких монет — не причинила мне большого ущерба. Но то, что вместе с кошельком они стащили у меня ключ от физического кабинета, было скверно. Последствия не заставили себя долго ждать: через несколько дней из кабинета исчезла лампа накаливания (лампочки были в большом дефиците). Но одной пропажей не обошлось: через несколько месяцев они украли у меня фотометр. К тому времени я уже завоевал любовь и доверие многих своих воспитанников. Именно в этот вечер я делал в зоне небольшой доклад на тему «Вулканы» — обязательный черновик моих лекций неизменно рассматривался и утверждался директором школы, чтобы я, упаси Боже, не вынес на обсуждение ничего контрреволюционного —

и в заключение сказал: «У меня из кабинета физики пропало устройство. Для вас — это просто игрушка. Вы поиграете ею два-три дня, а потом выбросите. Мне же за него из зарплаты вычтут пятьсот рублей». На следующий день фотометр стоял в кабинете. Свой профессионализм мальчишки убедительно продемонстрировали мне еще раз: как-то вечером, сунув руку в карман, я вытащил... хвост селедки! О! Это был знак, которым я мог гордиться: я покорила их сердца!

Как разъяснили мне воспитатели, всех колонистов можно было разделить на две категории. К первой относились те, кто, в силу обстоятельств попав в водоворот времени, был вытолкнут из колеи. Пасынки войны, потерявшие близких, они бродяжничали по всей стране, то здесь, то там хватая, что попадется под руку. Большинству из них пребывание в колонии, где они могли заниматься регулируемой деятельностью, шло на пользу. Ко второй категории относились карманники и домушники (рецидивисты, которые рассматривали преступление как элемент нормального образа жизни), а также трудные парни, у которых на совести были убийства и изнасилования. При освобождении они на вопрос о том, что намерены теперь делать, обычно цинично отвечали: «Воровать дальше!» И действительно, через пару месяцев некоторые из них снова оказывались здесь.

Во время одного из моих уроков я стал свидетелем вспышки слепой ярости, которая чуть не стоила жизни одному из моих воспитанников и которая заставила меня содрогнуться. Один из колонистов, отбывающий наказание за убийство, после едкого замечания одноклассника в порыве раздражения схватил фаянсовую чернильницу и со всей силы швырнул ее в своего обидчика. Она пролетела мимо головы мальчика, задев его волосы, и вдребезги разбилась о стену, рассыпавшись на тысячу осколков. В классе повисла мертвая тишина; чернильное пятно тонкими струйками стекало вниз по стене. Все произошло так внезапно, что повлиять на ситуацию у меня не было никакой возможности.

Но кроме этих двух достаточно многочисленных групп существовала еще одна маленькая, особняком стоящая группа из четырех колонистов в возрасте от двенадцати до тринадцати лет. Это были, как бы это невероятно ни звучало, «политические». Эти еще наполовину дети в своей ребячьей наивности, осознав всю порочность и беззаконие большевистского режима, в отличие от нерешительных, малодушных взрослых, бросили ему вызов и устраивали тайные встречи для обсуждения. Неизменно бодрствующий НКВД, благодаря образцовой выучке своих агентов, стукачей и доносчиков, быстро выведая о «гнезде», увидел в детских забавах серьезную угрозу основам государства. С подобными проступками «оплот мира и свободы» мириться не мог, и согласно пресловутой статье 58 (контрреволюционная деятельность) «главарю» вклеили шесть лет, остальным дали по четыре года. Теперь на досуге юные мечтатели могли поразмыслить об основных понятиях прав человека...

Эти «подрывные элементы» намного превосходили здесь своих сверстников в интеллектуальном развитии. «Главарь» Р.³⁹, в то время четырнадцатилетний юноша с темными, печальными глазами, бросился мне в глаза с самого начала из-за странного внешнего вида — он напоминал беременную женщину: под блузой он всегда носил несколько позаимствованных в библиотеке книг — произведений русских классиков, которые он подобным образом спасал от участи стать сигаретами. Его успехи в школе свидетельствовали о преждевременно развитом глубоком интеллекте. Его «пособник» Ш., еврейский мальчик, который схлопотал только четыре года, казалось, воспринимал свою судьбу не столь трагично; имея веселый нрав, он часто шалил и периодически проказничал на моих уроках. С легкостью он писал стихи и эпические вирши, в которых остроумно пародировал жизнь и дела колонии. Бывало, и об меня точилось его перо, демонстрируя талант. У этих мальчиков был духовный голод, они стремились к общению со мной и никогда не пренебрегали моими заданиями. О том, что мы, я и они, связаны одной веревочкой, они наверняка догадывались.

Сентябрь 1944 года. Мои мокасины пришли в негодность — только кожаный верх еще держался, подошвы я сносил полностью, и когда по утрам я шел в зону, под моими босыми ногами хрустели корочки льда. При этом я ни разу не схватил даже насморка, так же, как и в прошедшие голодные годы, когда я ни разу не болел. (Из ссыльных, впрочем, не болел никто, они просто сразу умирали...) С первой же своей зарплаты я отправился в дорогу, на томский базар, который официально назывался здесь «черным рынком» — а в обиходе его называли просто «толкучкой». Я купил себе пару крепких американских ботинок и темно-синий пиджак из приятной ткани, который сидел на мне как влитой, — ясно, что это были куски чьей-то добычи. Еще я купил себе ложку; на обратной стороне ручки читалась немецкая маркировка «ROSTFREI» (нержавейка. — Прим. Е. Ш.). Левый край овала ложки был заметно тоньше: ее бывший хозяин, вероятно, весьма усердно скреб ею дно своей посуды... Где и когда ложка,

которую он так любил, выпала из его рук, где упокоены кости, которым теперь не страшны ни голод, ни холод?

Гардероб у меня значительно пополнился: мой дорогой друг Юлиус Мильхер**** прислал мне из Черновица (город к тому времени уже был освобожден) посылку с парой рыжих носков и вдобавок два раза переводил мне деньги. И моя тетя Густа, почти семидесятилетняя, несчастная женщина, которая пешком вернулась в Черновиц из КЦ, находившегося в Транснистрии, тоже выслала мне немного денег. Моя соседка латышка вызвалась перелицевать мое пальто, которое уже изрядно истрепалось и разодралось. Изнаночная сторона ткани оказалась в крупную клетку, и в «новом» пальто я выглядел несколько странно.

Зима 1945 года от недели к неделе приносила все более обнадеживающие сводки с фронта, и окончание войны ощутимо приближалось. В это время работающим ссыльным, в том числе и мне, были выданы «временные удостоверения личности», что означало существенное улучшение нашего положения. Слабая надежда на то, что после окончания войны нам позволят вернуться домой, придавала мне силы.

В бытовом плане жить стало теперь намного легче. Один высокопоставленный чиновник, наслушавшись лестных отзывов о моей трудовой практике, решил не упускать возможности обучить свою дочурку немецкому языку. Два раз в неделю я давал Софии — так звали девочку — индивидуальные уроки немецкого языка. Способный ребенок быстро делал успехи, и уже через несколько месяцев она почти без ошибок могла написать небольшое сочинение. В качестве натуральной платы за свои уроки я получал три ведра картошки в месяц, и особенно замечательным было то, что я действительно был в состоянии без остатка съесть это количество. Однако с кухонной посудой у меня были проблемы; моей старенькой, еще в Васюгане запаянной кастрюльке пришел полный капут, и в магазине их тоже не было, как и прочих нужных товаров. Наконец, у одного торгаша я купил сделанный из водосточной трубы жестяной горшок. Он был примерно двадцать сантиметров высотой; и так как площадь дна была совсем маленькой, то требовалось приблизительно два часа, чтобы картошка сварилась. При этом в течение всего времени варки я не мог уйти с нашей общей кухни, иначе мою картошку просто вылавливали из горшка.

Поскольку скудным хлебным пайком, который мне выделялся, я не наедался, то время от времени я устраивал себе обжорство: на маленьком рынке Дзержинки я покупал буханку хлеба (за 50 рублей!) и кружку цельного молока. Дома я, набросившись, пожирал в один присест половину этого лакомства; я мог съесть и сразу всё, но меня сдерживала моя жадность — не потому, что я боялся за пищеварение, а потому, что хотел приберечь остатки для второго пира.

И вот, наконец, настал День Победы! Конец этой злосчастной, страшной войне.

Непередаваемое ликование охватило всех: молодые и старые, колонисты и воспитатели, учителя, охранники, женщины, дети поздравляли друг друга, обменивались поцелуями, танцевали на улицах. На площади перед административным зданием караул выстроился в линию и из ружей дал в воздух залп. Это был незабываемый день! Все горести, все страдания, которые принесла война, должны были закончиться. Спустя несколько дней было обнародовано Постановление правительства о том, что советским гражданам возвращается отмененное на время войны право на отпуск. Так что теперь и я мог ожидать свой первый отпуск! «Может, будут и другие постановления?» — тешил я себя надеждами.

Время летело быстро, школа вот-вот должна была закрыться на лето, и учителям были объявлены сроки долгожданных каникул. Директор несколько смущенно объяснил, что о моем отпуске еще нет решения, я мог бы обратиться к начальнику. И вот, встревоженный и огорченный, я отправился в здание правления, где находилась канцелярия. Начальник, полковник НКВД, оказался настоящим мерзавцем. Даже не выслушав, он отправил меня на сенокос. «Для таких, как ты, нет отпуска», — зашипел он на меня. Это была ложь. Как для ссыльного, для меня тоже действовали положения трудового права: я на законных основаниях

**** *Юлиус Мильхер был призван в начале войны и сражался в чехословацких частях Красной Армии на Восточном фронте. Был серьезно ранен (потерял правую руку), по окончании войны жил в Чехословакии, потом в Германии и, наконец, перебрался в Израиль, где умер в 1986 году от опухоли головного мозга.

был принят на работу в качестве учителя, получал зарплату, имел выходные в воскресные и праздничные дни. Но что считалось теперь законом! Недаром гласит народная мудрость: «Закон — что дышло: куда повернешь — туда и вышло». Спорить было бесполезно; он показал мне на дверь. Спотыкаясь, спускался я по лестнице, горечь на сердце: «Такие, как я...» Я был изгоем, который должен принимать все. (В том году я все-таки получил свой отпуск; высокомерный деспот из администрации, должно быть, понял, что был неправ.)

Итак, я отправился на сенокос. Косить мне было тяжело; для этой работы у меня не был ни сил, ни сноровки. Как бы то ни было, я постарался сделать все, что было в моих силах: я шел потный, истощенный, медленно продвигаясь вперед, сильно отставая от косарей, которые впереди меня шагали в одну линию. Оказалось, что непосильная для меня нагрузка вызвала у начальства сочувствие; через три дня меня отослали домой. Мне дали работу в бюро: я должен был приводить в порядок бумажные дела колонистов, чем я добросовестно и занялся. Эта работа не сильно меня утруждала, и уже в шесть вечера я был свободен. Физически я чувствовал себя хорошо: картошка, хлеб, молоко, иногда немного мяса сделали свое дело. Я хотел попытаться снова вернуть себя в форму, ходить купаться, плавать. Когда я плавал в последний раз? Ах, да, это было пять лет назад, в начале лета 1940 года. Река Прус... Гусиное гнездо... Люси. Счастливейшее время.

Недалеко от Дзержинки располагался пруд, напоминающий по форме цифру 8, он так и назывался «восьмерка». Вода в пруду была чистая, и я мог бы в нем плавать, но у меня не было плавков. Кто хотел купаться, шел в воду прямо в нижнем белье. Я так не мог. Латышка, та, что перелицовывала мне пальто, посоветовала купить женские панталоны — из них она и сшила мне купальник. Отныне я каждый вечер ходил в своих атласных нежно-голубых плавках, с полотенцем под мышкой к озеру и плавал — поначалу у меня просто захватывало дух — несколько кругов. Еще одно удовольствие, которого я долгое время был лишен и которое я мог теперь себе позволить, — это брать из библиотеки книги и «Правду». До этого нам, ссыльным, нельзя было читать газеты — этот запрет остается для меня загадкой, ведь кроме бравады и пустой брехни в них ничего не было. Видимо, «такие, как я» были просто недостойны смотреть своими буржуазными глазами на священную «Правду». (Что характерно, такой же точно запрет был введен в гитлеровской Германии для носителей звезд — показательная параллель. Наш статус «спецпереселенцев» был как бы концептуальным аналогом желтых еврейских звезд.) После стольких лет умственной бездеятельности я изголодался по чтению: я хватал все, что мне попадалось, — газеты, литературу иногда самого банального содержания.

Я проработал в бюро уже месяц, как вдруг неожиданно был вызван к начальнику. Что у него на уме? Что меня ждет? Как это ужасно, когда чувство несвободы, зависимости гнетет человека. Человек ли он еще, если он, как раб, или даже как дрессированное животное, не может распоряжаться собой, только подчиняться: «Эй ты!», «Иди сюда!», «Иди туда!»? ⁴⁰ «Человек... свободен, даже если он родился в цепях...» (стихотворение Шиллера «Слова веры». — Прим. Е. Ш.) — это провозгласил гений, во времена которого ни большевизм, ни фашизм еще не были изобретены.

Der Paria hat zurariieren. (Парии должны повиноваться (нем.). — Прим. Е. Ш.) Вопреки ожиданиям начальник принял меня дружелюбно. Он указал на кипу документов, касающихся колонистов, — показания, экспертизы, судебные дела и т. п. «Все эти документы должны быть скреплены печатью, — сказал он. — Сделай эту работу за меня». Он подозвал меня, усадил за широкий стол, сел рядом и обстоятельно проинструктировал, где и как я должен был ставить печать. Некоторое время он наблюдал за мной, потом погрузился в свою работу. Где-то через четверть часа он встал: «Я должен отлучиться, продолжай», — бросил он, покинул канцелярию и закрыл дверь.

Я остался в большой комнате один; негромко тикали настенные часы. В задумчивости опечатывал я документ за документом. И тут я услышал шепот маленького чертика: «Такую возможность нельзя упускать! Смотри, здесь лежат чистые листы бумаги; поставь печать на лист, положи его в карман! На нем ты сможешь выписать себе ордер на командировку в Черновиц! А там... там тебе помогут твои друзья». Моя рука уже тянулась к чистому листу бумаги — о, как жгла мне руку печать! — но опомнившись, я взял документ и поставил печать на нем. Чертик манил, а я колебался. Снова и снова я слышал его тихий и вкрадчивый голос, снова и снова я сомневался. Наконец я опечатал последний документ. Какое-то время я сидел просто так и таранился на печать. Тут и начальник вернулся, бросил взгляд на бумаги, кивнул и велел мне идти. Домой я возвращался погруженный в мысли. Неужели я упустил свой шанс?

Сегодня, спустя годы, уже хорошо изучив повадки этой братии, я прихожу к выводу, что избежал тогда огромной беды. В свое время моя нерешительность похитила у меня Люси, но в этот раз она меня спасла. Ведь вовсе неспроста «таким, как я» доверяют печать, святыню любой советской конторы; нет, тем более что десяток чиновников, которые трудились в предбаннике канцелярии, могли бы выполнить эту работу не хуже меня. Я твердо убежден, что мне устроили ловушку, и все это время каким-то образом за мной наблюдали; они хотели взять меня с поличным. Если бы проделка удалась, «человеколюбивый» начальник, вероятно, заработал бы медаль, а я — лагерь, если не смерть.

Латышам было разрешено вернуться на родину; латышская семья, что делила со мной комнату, уехала. Счастливо! Может, и моя пшеница зацветет? (Дословный перевод аналога русской поговорки «и на моей улице будет праздник». — Прим. Е. Ш.) Мне дали нового соседа по комнате, К. из Черновица. Однажды придя с рынка, где продавалось мясо, он мечтательно сказал: «Если я когда-нибудь снова вернусь домой, я опять буду держать бычка на чердаке (!)». Подобные мысли посещали меня в Сталинке, когда безвкусная гороховая каша казалась мне прелестной. Голодные годы сильно отразились на нашей психике. Спустя какое-то время моего товарища по комнате переселили, и я остался ее единственным обитателем.

Начался новый учебный год. Клавдия И. больше не курировала мои уроки. Я уже заработал уважение и считался настоящим учителем. Несколько раз мне было позволено вместе с Клавдией И. инспектировать уроки начинающих учителей, а затем оценивать их успешность. Доклад по дидактической теме, который я представил на педсовете, и два «открытых» урока по физике были хорошо приняты.

Взаимопонимание с колонистами улучшилось. В общении с ними я старался говорить четко и убедительно. Я никогда не позволял им чувствовать свое интеллектуальное превосходство, избегал иронии, пустых фраз, пустых обещаний и бессмысленных цитат. Искренность в отношении с воспитанниками я считал высшим принципом педагогики.

Я запомнил один эпизод, который произошел во время одного из моих уроков физики. Ч., рыжеволосый, не глупый, но упрямый мальчик, устраивал разного рода пакости, часто прерывал меня дерзкими словами. Мои неоднократные замечания он пропускал мимо ушей. Наконец, потеряв терпение, я встал и со сдерживаемым гневом произнес вполголоса: «Ч.! Сегодня великолепная погода. Посмотри, голубое небо, светит солнце. Иди-ка ты на улицу, ляг на травку и отдохни!» «Ага, — возразил он язвительно, — чтобы вы потом настучали об этом воспитателю!» «Нет, — отвечал я твердо, — я даю тебе слово: об этом никто не узнает. Иди и оставь нас в покое!» К моему удивлению, он не двинулся с места и молчал весь урок. Этот случай научил меня тому, что как только запретный плод падает в подол, он теряет свой вкус. В дальнейшем я часто использовал этот опыт.

Однажды вечером, придя домой, я обнаружил, что дверь в мою комнату приоткрыта. Не ожидая ничего хорошего, я вошел к себе. Один взгляд на мой чемодан — и подозрения стали уверенностью: не хватало пиджака, красно-коричневых брюк, которые прислал мой друг, и пары коричневых сапог, которые я недавно приобрел на рынке. Ограбление со взломом. Нервно, я бросился к своим бумагам, которые положил на самое дно чемодана, — они были на месте. До какой-то степени это меня успокоило, тем не менее ночь я провел без сна. Мои единственные хорошие вещи, мой воскресный костюм были украдены. Остались лишь серая блуза и штаны, которые были у меня еще с Васюгана. Вымотанный и подавленный, отправился я спозаранку на работу. Коллеги, которые близко к сердцу приняли мое несчастье, посоветовали немедленно отправиться на базар в Томск — возможно, там я смогу отыскать свои вещи. Я был удручен, ни на что не мог решиться и считал затею бесполезной. Только на следующее утро я, терзаясь сомнениями, попросил один день отпуска, чтобы отправиться на поиски, — скорее подчиняясь тягостной необходимости, чем движимый надеждой на успех. Два часа пути до Томи; когда я добрался до причала, паром как раз отходил от берега, — это означало, что придется ждать еще два часа. Невезение преследовало меня. Конечно, все было бесполезно, бессмысленно; даже если я переправлюсь со следующим паромом, на базар я все равно опоздаю. Я присел на одно из валявшихся кругом бревен и задремал. На песке у моих ног что-то блеснуло; я поднял пятикопеечную монету — это должно означать удачу! Удачу?

Базар располагался тогда на городской площади, вдали от Томи. Была поздняя осень, и после долгих дней без дождя в воздухе витала пыль. Общественного транспорта тогда еще не существовало; усталый и раздраженный я тащился вдоль улиц, улочек и переулков, проклиная воров, свои мучения и себя, дурака. Наконец, я увидел забор «толкучки». Снаружи ограды, как обычно, стояло несколько особенно пронырливых продавцов, которые стремились быстрее

поймать покупателя. Подойдя ближе, первое, что я увидел, — о Боже! — красно-коричневые штаны, которые, рассматривая, держал в руках покупатель! (Поверят ли мне?) Со словами: «Они краденые!» я рванул брюки к себе, схватил бабу, которая торговала краденым добром, за руку и потащил ее в милицейский участок, расположенный на базаре.

Расследование показало следующее: взлом совершили мои соседи. Оба, мужчина и его жена, были охранниками (!), жили в коммуналке напротив, наискосок от меня. Женщина, что привезла мои вещи на рынок, совсем недавно по окончании срока лишения свободы была выпущена из близлежащей женской колонии и нашла пристанище у моих «честных» соседей. На судебное заседание меня не вызывали, чему я был очень рад; от меня потребовалось лишь письменное свидетельство. Мне было жаль ребенка этих супругов, который теперь, когда его родителям было вынесено постановление в виде лишения свободы, был отправлен в детский дом. Я этого не хотел. Я был рад, что мои вещи вернулись ко мне, но о мести я и не помышлял.

Время большого голода прошло, тело мое окрепло, и забытая ранее потребность в душевном общении вновь проснулась. Как бы то ни было, а ностальгия истощала меня. Время от времени восхитительные картины в бесконечной дали прошлых дней, оживая, мучили меня. Я больше не мог закрываться от внешнего мира. Постепенно я начал принимать участие в общественной жизни нашей деревушки. С дружелюбным господином А., которому я был обязан работой в колонии, мы встречались все чаще и чаще, и вскоре нас связала искренняя дружба, основанная на духовном родстве и любви к музыке. Несколько раз мы выступали в публичных концертах; среди прочего мы играли фа-мажорный «Романс» Бетховена в переложении для скрипки и клавира. Мое мастерство игры на фортепиано было гораздо ниже уровня игры на скрипке господина А., ведь он был профессиональным скрипачом (позднее он играл в Томском симфоническом оркестре). Вечер песни, проведенный втроем с молодой непрофессиональной артисткой, у которой был красивый альт, был одобрительно принят местной публикой. Среди моих новых знакомых был и образованный молодой человек, который только что демобилизовался с военной службы. Он прошел всю войну до Берлина, посмотрел мир и немного говорил по-немецки. Казалось, он находил удовольствие в общении со мной, а из нескольких его высказываний я сделал вывод, что он разделяет большевистские взгляды, считая их единственно верными.

Март принес с собой приятный поворот в моих домашних обстоятельствах. Мне дали маленькую комнату с одним окошком, выходящим на улицу, на первом этаже так называемого «восьмиквартирника». Противоположная сторона улицы граничила с самой крутой отвесной частью холма, на котором располагалась Дзержинка, и была не застроена, так что через обширную низменность, простиравшуюся от нашей деревушки до границы города, можно было различить очертания Томска. В респектабельном «восьмиквартирнике» квартиры состояли из двух-трех комнат и кухни. В моей комнатке, которая на самом деле была частью одной из квартир, но имела отдельный вход, были розетка и маленькая электроплитка; прошли времена отвратительной общественной кухни! Кроме того, я обзавелся наконец правильной кастрюлей и сковородкой, на которой исправно жарил восхитительные омлеты.

Повседневное питание стало заметно лучше. Кроме хлебного пайка нам теперь ежемесячно выделяли яичный порошок, перловку и немного масла. Я не получал только сахар, который, как и другие лакомые кусочки, доставался лишь жирным бюрократам. (Все эти годы, кроме пары ягод малины в Сталинке, я не ел ничего сладкого. Однажды, когда мама маленькой Софии во время урока немецкого предложила мне чашечку кофе и при этом рассыпала немного сахарной пудры, у меня был большой соблазн слизать ее со стола.)

На стене моих новых «апартаментов» — какое удобство — висело маленькое черное радио. Я с недоверием рассмотрел аппарат: задолго до того как роман Джорджа Оруэлла «1984» попал мне в руки, при виде этого «народного радио» у меня зародилось подозрение, что, возможно, в него вмонтировано подслушивающее устройство. Поэтому вечером, после того как я прослушивал отфильтрованные «последние новости» и «доклады», среди которых мне приходилось терпеть парочку бодрых маршей, я предусмотрительно вытаскивал вилку подозрительного устройства из розетки, после чего не без удовольствия говорил: «Да пошли вы все...!» и спокойно шел спать.

Когда в шестой части света все поставлено с ног на голову, то и торговля существует по правилам, вывернутым наизнанку: не продавец старается для клиента, а наоборот, покупатель — для продавца. Валентина Петровна, продавщица нашего единственного продуктового магазина, была некоронованной королевой Дзержинки. Ведь от ее милости зависело, отрежет она вам от сыра мягкий кусок из серединки или здоровенную корку, бросите

вы на сковородку чистое, без примеси мяса или большущую кость. Было забавно наблюдать, как даже высокопоставленные чиновники и уважаемые женщины по-кошачьи изгибались перед ней. «О, Валентина Петровна, так рано и уже на работу?» — мурлыкали они, едва заведев ее утром. «Всё трудитесь, Валентина Петровна!» — заливались они, когда встречали ее вечером, и уже шепотом, как кода: «Скоро ли поступит хорошая говядина?» Я бы довольствовался и хвостиком поросенка, если бы его как-то можно было использовать, но для «таких, как я» оставалось лишь молчаливое презрение.

Валентина Петровна принимала поклонение себе невозмутимо, с подобающим сану достоинством, и только ярко накрашенные губы на мясистом лице изредка кривились в прохладной улыбке. Такой она осталась в моей памяти: толстая, симпатичная, но, как и подобает королеве, неприступная и неразговорчивая. И все же у Ее Величества имелась слабость: она постоянно сосала конфетки. Ее судьба, как и судьба многих советских продавщиц, вероятно, была трагичной: ожирение или диабет.

В Сибири с ее резко континентальным климатом есть, собственно говоря, только два времени года: долгая суровая зима и короткое, очень жаркое лето. Изредка природа дарит осенью пару тихих, мягких недель, но в весне, милой «Милой весне» здесь отказано: примерно в конце апреля ослабевают ледяной холод, быстро наступает оттепель, и вскоре солнце уже палит с небес; по обеим сторонам дорог то тут, то там до сих пор лежат снег и куски льда, но проезжая часть уже покрыта пылью.

В апреле 1946 года жара обрушилась особенно стремительно. Почти в одно мгновение Томь взорвала свои ледяные оковы, и мощные льдины поволоклись, выдвигаясь, наслаиваясь друг на друга, вниз по течению, нагромождая ледяной барьер. Вода поднималась с огромной скоростью; вскоре вся низина между Дзержинкой и Томском была затоплена, всякая связь с городом была прервана. Поначалу я с изумлением смотрел на столь впечатляющее природное явление; но когда вода стояла уже лишь на метр ниже края нашего холма, а низко расположенные улочки были затоплены — вот тут мне стало немного жутковато. Ночью раздался приглушенный грохот: ледовый затор прорвало, и после этого вода из низины ушла, а земля с лежащими на ней в разных положениях льдинами — на торце, на основании, перевернутыми друг на друга — предстала в странном, первобытном виде.

Июнь 1946 года. У меня начался отпуск, который никто у меня больше не отнимал, и я, все еще голодный до чтения, набросился на книги, газеты, журналы; играл в шахматы со старыми и новыми партнерами. Вечерами я ходил плавать; и только когда солнце уже совсем садилось, я направлялся домой. Тут, в моей тусклой келье, меня подстерегала хандра, которая неслышно подкрадывалась из темных углов.

Нет, я чувствовал это: все общение, все занятия, даже моя работа, которую я любил, лишь приглушали ту жгучую боль, что сидела во мне. Я был заброшен в мир, который был мне чужд и враждебен: эти мучительно тянущиеся дни, эти дикие, наполненные странными звуками светлые ночи, которые не дарят никакого покоя. Ах, как мало мы обращаем внимания на то, что имеем, и лишь потеряв, мы узнаем истинную ценность вещей. Милая, маленькая Буковина! Ты была ко мне так добра, а я этого совсем не ценил; ты была со мной так нежна и ласкова, а я воспринимал это с равнодушием. Примешь ли ты меня, неблагодарного, снова, согреешь ли своим солнцем, дашь ли надышаться твоим воздухом и позволишь ли обрести покой в твоей земле?

Школьный учебный 1946/47 год начался. Ряд заключенных был освобожден, «новые» смотрели недоверчиво, «политические» сидели. Недавно принятый на работу учитель математики, фронтовик, взял себе несколько моих часов, и я смог полностью посвятить себя физике. К этому времени я, обобщив как чужой, так и свой собственный опыт, все больше и больше стал полагаться на принципы, которые подсказывала мне моя интуиция. Я всегда стремился сделать свое педагогическое влияние на воспитанников как можно более ненавязчивым. И я убежден, что моя тихая, продиктованная искренним сочувствием конкретная работа даст больше результатов, чем общие «меры воспитательного характера», от которых звон стоит в ушах.

В один погожий осенний день наш директор, педантичный и, в общем-то, довольно ограниченный человек решил с тяжелым сердцем на воспитательный эксперимент. По предложению Клавдии И. он предпринял поездку в Томск с группой колонистов, отличившихся хорошим поведением, где также было предусмотрено посещение муниципального театра — давали трагедию Пушкина «Борис Годунов». На обратном пути одному из заключенных,

несмотря на сильную охрану, удалось сбежать. После этого случая наш директор утратил всякий интерес к реформаторским идеям и оставил все по-прежнему — несправедливо, на мой взгляд, ведь в ином случае выигрыш был бы гораздо больше, чем потеря.

НОВОГОДНЕЕ ИЗВЕСТИЕ

«Большевизм, в непристойном смысле этого слова...»

Т. Манн

Декабрь 1946 года. Что принесет нам Дед Мороз? Ответ Деда Мороза несколько задержался, но в конце концов чудесный сюрприз не заставил себя долго ждать. В начале января 1947 года милиционер ходил от дома к дому, где жили ссыльные, и забирал все временные удостоверения личности. Что это значит? Меня охватило волнение. Но возможно, я зря беспокоюсь, возможно, это нужно лишь для того, чтобы сделать отметку в паспорте или даже чтобы выдать новое, правильное удостоверение личности.

На следующий день я был вызван к начальнику. «Поступило новое распоряжение, — объявил он мне грубо и без лишних слов, — вы все едете туда, откуда пришли». Я стоял словно окаменевший. В Васюган? Обрато в тайгу, к голоду и вшам? Однажды я прошел через это, второй раз я был на это не способен. Это означало медленную, мучительную смерть... «Нет, — закричал я. — Нет, я не поеду туда! Лучше сразу расстреляйте!» Это был не риторический возглас, это был крик из глубины души. Начальник и незнакомый мне старший офицер, который, вероятно, прибыл из Томска, отвернулись и не удостоили меня ответом. Для них вопрос был закрыт. Я вышел, нет, я едва держался на ногах. Я готов был принять любую подлянку, только не эту. Это был нож в самое сердце.

Я задумался о взаимосвязи событий, и мне все стало ясно: внешнеполитическое положение — вот что лежало в основе! С 1944 года отношения Советов с западными державами развивались благоприятно (этому обстоятельству я был обязан разрешением на выезд из Нового Васюгана и радужным приемом в Новосибирском управлении НКВД), но вскоре после 1945 года между двумя лагерями произошло отчуждение, которое в конце концов привело к холодной войне. На восток Европы, громяхая, опустился железный занавес; фитиль, который мог спровоцировать взрыв новой волны, уже тлел. Но те, кто рисковал своей жизнью в борьбе за свободу, честь и достоинство, не позволили стиснутому кулаку дьявола запугать себя. Однако есть и все основания возмущаться твердолобыми западниками, не пожелавшими ничего знать о счастье, которое было предложено им так бескорыстно. На ком большевики должны были теперь срывать свое недовольство? Конечно, на нас, униженных и беззащитных. Эта убогая, мелочная, подлая ненависть, эта уродливая мешанина злобы и самодурства для большевизма столь же типичны, как перья для птицы. Зародившись в столице, это отношение распространялось от центра к периферии, как круги по воде, где каждая соломинка послушно присоединяется к колебательному движению, исходящему из центра. Так и мой добросердечный начальник, который не способен был выбросить за порог собаку, собственной персоной сообщил мне неприятные вести. Или в этот раз он на практике хотел в присутствии старшего офицера засвидетельствовать свою безусловную подобострастность?

Эти рассуждения помогли мне перенести удар, но основная причина изгнания стала известна мне много лет спустя: в 1947 году дряхлый Сталин, который прославился как гений человечности, начал разнузданную кампанию против евреев, которая повсеместно вылилась в жестокие репрессии против еврейского населения, прежде всего против интеллигенции.

«Евреев систематически ставили на место... Они попались на организации большинства еврейских „инженерных саботажей“ на сталелитейном комбинате в Сталино (Донецк. — Прим. Е. Ш.), были приговорены к смерти и казнены 12 августа 1952 года, так же, как и жена Молотова, еврейка Полина Жемчужная — высокое должностное лицо в текстильной промышленности, — которая 21 января 1949 года за „утерю документов, содержащих государственные секреты“, была схвачена и после приговора сослана в лагерь на пять лет. Или жена — тоже еврейка — личного секретаря Сталина, Александра Поскребышева, обвиненная в шпионаже и расстрелянная в июле 1952 года. И Молотов, и Поскребышев служили Сталину по-прежнему, будто ничего не произошло. К этому времени Сталин инсценирует — также под грифом секретности — другую аферу, так называемое „ленинградское дело“, важный шаг, который вместе с делом еврейско-антифашистского комитета должен был подготовить окончательную зачистку».⁴¹

«В январе 1948 года по приказу Сталина был убит Соломон Михоэлс (известный еврейский актер). Государственный (!) еврейский театр в Москве был закрыт. Лучшие еврейские писатели и поэты были схвачены».⁴²

Забегая немного вперед, хочу сказать, что в уединении моего нового места ссылки — в деревне Тегульдэт — я был единственным евреем и ссыльным и потому был избавлен от издевательств и даже ничего обо всем этом не знал.

И вот уже были готовы документы об увольнении, когда школьный инспектор управления НКВД по Томской области, заинтересованный в нормальном течении школьного процесса, смог настоять на том, чтобы мой отъезд был отложен до окончания занятий в школе. Таким образом, мне дана была отсрочка, и, по крайней мере, мне не нужно было скитаться зимой по морозу.

Пришло лето и, как говорится: «Прочь, прочь!» Возможно, я должен был обратиться в Томск, к главе областного отдела народного образования; он мог бы отправить меня учителем все равно куда, лишь бы мне остаться учителем. Это была моя профессия, да, мое призвание. Только не снова в колхоз, только не обратно в Васюган, одно упоминание о котором наводило на меня ужас. Но мне дали знать, что Ш., глава областного отдела, «таким, как я» указывает на дверь. Безнадежно. Рядом с Дзержинкой находилась деревня Тимирязевка; там было профессиональное училище. Может быть, попытаться счастья там? Нет, все бесполезно. Потерянный и отвергнутый, как бездомная собака, блуждал я по улицам. «Прочь, прочь!» — несло со всех сторон. За что? Что я сделал, где ошибся?

Мой мозг лихорадочно работал, ища спасения. Я напряг всю свою память, сосредоточился и сфокусировал все свое внимание как бы в один луч, который, словно пучок электронов, пробежал строку за строкой на экране, скрупулезно прощупывая все закоулки мозга в поисках информации, ячейку за ячейкой: ничего... никакой информации... нет... нет... СТОП! Вспыхнуло!.. Да, я вспомнил: тот молодой человек, который недавно был мобилизован с военной службы, тот самый, которому нравилось беседовать со мной. Да, вскользь он упоминал, что в Томске у него есть квартира, но поскольку со своей женой — а она секретарь областного исполнительного комитета, упомянул он при этом, — собирается разводиться, то временно живет здесь в Дзержинке, у своей матери.

Его жена — секретарь областного комитета! Это высокий пост, ей подчиняется даже начальник областного отдела народного образования! Если бы она замолвила за меня словечко... И ее муж наверняка не откажет мне в маленькой услуге попросить об этом свою жену. Но он был в отъезде! В отъезде, именно сейчас, когда меня постигла такая беда! Я решил отыскать его мать; я ее не знал, но она была обо мне наслышана.

Пожилая, скромно одетая женщина приняла меня сдержанно, но не угрюмо. Когда я изложил ей свою просьбу, она задумалась; я молча, умоляюще смотрел на нее, и она взяла перо... В тот же день я помчался в Томск — снова восемь километров до реки, паром, пыльные дороги. На втором этаже красивого бревенчатого дома мне открыла дверь молодая тощая брюнетка с резкими чертами лица, на котором лежала печать усталости, как если бы она собственноручно подстегивала людей ударами; ведь это свойственно людям ее склада, тем, кто подгоняет и кого подгоняют, кто бранится и кого бранят. Она молча вскрыла конверт, молча пробежала глазами по строчкам — меня она при этом оставила стоять в дверях — и молча закрыла дверь. Все! Последняя слабая ниточка надежды порвалась. Да, если бы молодой человек, ее муж, сам попросил ее, может быть, было бы по-другому. Кто знает, как она относилась к свекрови?

HELLO, ТАЙГА!

На пароме в Тегульдэт

с нами едет смерть.

Как бы там ни было, на следующее утро я отправился в тяжкий путь — в областную администрацию народного образования. В обширной прихожей, из которой одна дверь вела в рабочий кабинет Ч., сейчас, в дни школьных каникул, собрались директора школ, руководители районных комитетов, а также учителя из городов и деревень Томской области, чтобы обсудить со своим шефом Ч. текущие дела. С группой из Тегульдета, большого села, расположенного в одноименном районе к северо-востоку от Томска, я разговорился. Учитель математики им был не нужен, но они готовы были взять меня на работу как учителя физики, и для этого мне нужно

было всего лишь получить ордер у Ч., разъяснили мне. «Всего лишь» ордер; н-да, в нем-то и была загвоздка.

Меж тем и до меня дошла очередь; я робко постучал в дверь (помоги мне Боже!) и вошел. За широким письменным столом сидел Ч., обхватив руками наполовину седую голову. Он, вероятно, не слышал моих постукиваний, потому что только теперь поднял глаза и посмотрел пытливо и несколько настороженно. Запинаясь, я назвал свое имя и вдруг Ч. удивительным образом преобразился: он встал, лучезарно улыбнулся, подошел ко мне и крепко пожал мою руку. «Победа! — пронеслось у меня в голове. — Победа!» Та женщина, что день назад так сдержанно приняла меня, помогла мне! Что это было: слабая надежда, что этот скромный поступок любви сможет переубедить ее мужа и она не потеряет его, или она не хотела портить отношения со свекровью? В любом случае, спасибо ей!

В один миг все было сделано: я получил ордер и командировочные в размере месячного оклада. Мой новый руководитель, инспектор районного отдела народного образования, проинформировал меня: дорога будет довольно трудной, летом туда можно добраться только на корабле по Чулыму — так называется река, на которой стоит Тегульдет. Он и его сотрудники из Тегульдета прибыли в Томск на арендованной барже, которую тащил маленький катер, и теперь они загрузили баржу разными товарами для школ отдаленных районов и с ними отправятся в обратный путь. Поскольку уезжали они в тот же день, а мне нужно было собрать свои вещи в Дзержинке, мы договорились, что я буду ждать их в Асино, большой деревне на Чулыме, — туда они доплывут через три дня. А я до Асино смогу добраться за четыре часа на поезде.⁴³

Воодушевленный, я поспешил обратно в Дзержинку: упаковал свои манатки, наслаждаясь ощущением отступившего кошмара; еще два спокойных дня, и вот ранним утром третьего дня — это было тихое воскресенье — я прибыл в Асино. Оказалось, что причал находится в деревушке Вознесенка, где-то в четырех километрах от Асино. Извозчик доставил туда мой сундук и чемодан, и вскоре я стоял на берегу Чулыма. Во второй половине дня исправно прибыла моя баржа. Она состояла из крепкого, застеленного досками пола, снабженного перилами и закрепленного на двух лодках. Мои новые коллеги радостно приветствовали меня. (Позже они признались, что не ожидали меня здесь встретить. Они думали, что я мерзавец, который вместе с дорожными деньгами исчезнет, как пыль.) На правой стороне парома, рядом со складом, я устроил себе спальный уголок и, забыв все печали, бродил взглядом по берегам. Мы двигались вверх по Чулыму в северо-западном направлении; отчасти местность напоминала васюгановский ландшафт, только вода, слава Богу, была светлая.

Капитан, управляющий катером, оказался недобросовестным и к тому же неумелым работником. Он взял на паром безо всякого на то разрешения посторонние грузы и пассажиров; вечером второго дня он застрял в несудоходном рукаве реки, зацепился за рыболовные сети и лишь с наступлением утра смог выпутаться благодаря помощи рыбаков, повстречавшихся нам по счастливой случайности. Перегруженные лодки лежали глубоко в воде, их края лишь на две ладони выступали из воды.

Была середина августа; по ночам уже становилось холодно, но под моим стеганым одеялом я чувствовал себя чудесно, а осознание того, что мне удалось избежать чудовищного Васюгана, поднимало мне настроение. Для сна я был оснащен лучше других, ведь многие взяли с собой в служебную командировку лишь теплое пальто или, в лучшем случае, легкое покрывало и, конечно, мерзли по ночам. Мой будущий директор школы, симпатичный молодой человек, нашел оригинальное решение: на ночь он забирался в одну из лодок под деревянный настил; в этой тесной «каюте» все-таки было теплее.

Мы оставили позади большую деревню Зырянское и Чердаты. Чулым лениво извивался по сибирской низменности; местность становилась все более пустынной, мы все реже проплывали мимо поселений. Наша тегульдетская группа держалась вместе, и мы разговорились с директором — он, как я узнал, закончил Ленинградский университет. Чтобы найти общий язык, он повел речь о высшей математике. Директор остался доволен моими ответами, и какое-то время мы еще болтали о том о сем.

Погода была великолепная: днем сияющее солнце возмещало нам прохладу ночи (все мои скитания, за исключением Кунтиков, всегда сопровождалось ясной погодой). От двух моих булок хлеба осталась одна — этого должно было хватить. Я поудобнее устроился в своем уголке, наслаждаясь тишиной, свежим воздухом и напевая себе под нос популярную в те годы мелодию: «Мы едем, едем, едем в далекий Тегульдет».

Сибирская осень внезапно заявила о себе ощутимо холодной ночью; пронизывающий юго-восточный ветер заставил содрогнуться даже меня под теплым одеялом. Застигнутые холодом, мы все, лишь рассвело, повскакивали, растирая оочевенные части тел и стараясь согреться в лучах восходящего солнца (только директор спал еще в своей «каюте»). Я достал нож и собрался делать себе завтрак, как вдруг внезапно подо мной провисла правая лодка, а потом и левая ушла вниз: катастрофа! К счастью, паром не ушел на дно — пол из досок стал своего рода плотом; некоторые более легкие ящики, в том числе и мой сундучок, плавали по воде; другие — сползли и затонули. Мы по-прежнему стояли на досках, но по пояс в воде. Кто-то стал искать директора школы в левой лодке — она заполнилась водой, но была пуста; нахлынувшая вода настигла его во время сна и, вероятно, вынесла под доски пола. Шкипер отсоединил катер от парома, развернулся и шел к нам. Он взял двух мужчин на борт и курсировал по реке в поисках молодого человека. Тем временем наш паром продолжал дрейфовать, медленно вращаясь. Какое-то время мы были словно парализованы; наконец, опомнившись, начали искать багаж сквозь метровую толщу воды. Многие были просто смыты. Одеяло и подушку я смог выловить и повесил их на перила. Сундук плыл в досягаемой близости, но мой картонный, покрытый черной искусственной кожей чемодан исчез; в нем лежали моя одежда, белье и, самое главное, — мои бумаги, диплом, ордер и прочее! Без них я опять оказывался у разбитого корыта! В отчаянии я прошлепал по воде с одной стороны парома на другую и окинул взглядом поверхность воды — не видно ли где-нибудь моего чемодана. Тут я наткнулся ногой на что-то твердое, пошарил в мутной воде — и вытащил свой чемодан! Его немного отнесло, но потом он быстро наполнился водой, затонул и упал на доски пола. Я сорвал с себя ремень и крепко привязал чемодан к перилам. Правда, привязанный, он по-прежнему оставался под водой, но был спасен. После более чем двухчасовых бесполезных поисков катер вернулся и оттащил нас к левому, высокому берегу. (Останки молодого человека были найдены только через несколько недель.) Мы перенесли наше имущество — скорее, то, что от него осталось, — на землю (выяснилось, что мой ущерб был наименьшим, я потерял только свой нож), вскарабкались вверх по крутому берегу и огляделись: мы, новые робинзоны, находились на обширном, кое-где заросшем осинами и березами скошенном лугу, на котором равномерно, приблизительно на одном расстоянии друг от друга, стояли стога сена.

Мужчины сколотили крест. Каждый сибиряк, кем бы он ни был, умеет обращаться с топором, и вскоре этот незамысловатый памятник, снабженный надписью, возвышался над берегом. Несколько минут мы пребывали в тишине. Наше столь приятно начавшееся путешествие закончилось трагически; в Тегульдете молодая женщина будет напрасно ждать своего мужа. В том, что в катастрофе был виноват шкипер, который перегрузил паром, не было сомнений: возможно, низко лежащий край правой лодки не выдержал сильных ночных порывов ветра, а может быть, правая лодка дала течь. Шкипер тем временем на своем катере продолжил путь в Тегульдет. Оттуда он собирался привести нам помощь.

Становилось жарко, светило солнце. (Как бы мы все это пережили в дождливую погоду?) Теперь каждый занялся своим багажом. Чемоданы были опустошены, вещи выложены для просушки на солнце. Первым делом нужно было позаботиться о ночлеге. Из сена и веток опытные сибиряки построили шалаш, и я для себя, правда, не столь искусно, соорудил из сена спальное место. Голод, который до этого подавлялся из-за душевного потрясения, начал заявлять о себе. Мой хлеб, который лежал в чемодане, полностью размок. Я растер буханку в крошки и рассыпал их на крышку чемодана, где солнце их быстро высушило. Начальник районного отдела, совершавший поездку с женой и взрослым сыном, подозвал меня: его жена предложила мне два больших бутерброда — каким-то образом их продукты остались сухими; с жадностью я проглотил этот дружеский дар. Одежда, которая была на мне, постепенно просохла. Никто после более чем двухчасового пребывания в холодной воде даже не расползся; в очередной раз человеческая психика воспользовалась «стальным резервом».

Постепенно улеглось душевное волнение; солнце грело; в его лучах сохли мое белье, одежда и бумаги (на некоторых из них размытые чернила и по сей день свидетельствуют о той катастрофе). Двое мужчин пешком отправились вниз по течению в Зырянское, чтобы там найти помощь; на нашего шкипера полагаться было нельзя. Уже два дня длилась наша робинзонода. К полудню третьего дня мы увидели большой катер; на носу стояли наши курьеры и еще издали махали нам. Спасение пришло! Катер, оборудованный для пассажирских перевозок, принял нас на борт, и через два дня без каких-либо происшествий мы добрались до Тегульдета.

«Здорово, мужик!» — одобрительно приветствовали меня собравшиеся, когда я со своими коллегами нес тяжелые ящики с гвоздями и мылом на крутой берег. Вот и мое новое место жительства! Я огляделся. На некотором расстоянии от причала я увидел раскинувшееся передо

мною ровное пространство, на одной части которого вразброс, а на другой — упорядоченные в улицы стояли двух-трехэтажные бревенчатые дома. Первое впечатление оказалось благоприятным: по крайней мере, ни луж, ни болот, которые в Новом Васюгане встречались на каждом шагу прямо на улицах, здесь не было.

Первую ночь я провел на столе в средней школе, куда был принят теперь на работу. Но где проводить следующие ночи? Комнату мне не выделили, поэтому пришлось искать съемное жилье. Только спустя годы я узнал, что учитель в деревне в административном порядке бесплатно должен быть обеспечен жильем, отоплением, электричеством; от меня эту привилегию скрыли умышленно, чтобы сэкономить на «таком, как я». Уже на следующий день я нашел комнатку, в которой только-только умещались кровать и столик. Мой хозяин, Петр Михайлович, в 1941 году прямо со школьной скамьи был призван на фронт, а по окончании войны был демобилизован без профессионального образования. Он подал документы в Ленинградский институт на заочное отделение факультета деревообрабатывающей промышленности, через несколько лет успешно закончил его, но работать по специальности не стал и ушел в среднюю школу учителем математики. Интеллигентный, образованный, отзывчивый, он имел, к сожалению, слабость, которую приобрел, наверное, на войне, — пьянство. Возможно, это было связано с его нравом холерика — что для алкоголиков не редкость. Да и жена у него тоже была не ангел: когда после пирушек со своими собутыльниками он, синий, как фиалка, заваливался в дом, она устраивала не очень приятные сцены. По отношению ко мне он вел себя сдержанно; когда он начал преподавать в школе, я был уже опытным педагогом и всегда был рад помочь ему.

Сразу по прибытии в Тегульдэт я по всем правилам сообщил о себе в комендатуру. Комендант, молодой симпатичный лейтенант милиции, просмотрев мои бумаги, встал и подал мне руку! Мои глаза наполнились слезами: он считал меня человеком! Я думаю, что в нем была жива еще старая традиция прогрессивно настроенной русской интеллигенции. За все тринадцать лет, что я провел в Тегульдете, у меня ни разу не было неприятностей в отношениях с комендатурой. Выяснилось, что я был единственным ссыльным в Тегульдете из потока 1941 года, что в дальнейшем благоприятно сказалось на моем положении, поскольку я не столкнулся с предвзято враждебным отношением местных жителей, которое формировалось иногда вследствие массовой иммиграции чужаков.

Тегульдэт расположен на левом берегу реки Чулым; его население состояло отчасти из остатков древнейшего коренного населения, отчасти из потомков русских крестьян с западных районов России, которые в начале XX века пришли сюда. По ту сторону, на правом берегу реки, было несколько маленьких деревушек, где жили ссыльные, которых, как кулаков, в 30-е годы привезли сюда — в эти тогда еще необитаемые земли; здесь в тайге им пришлось устраиваться с тем немногим, что у них оставалось.

Первого сентября (1947) начались занятия в школе, а для меня — новый отрезок жизни. С легким сердцем — моя практика в «зоне» сослужила мне хорошую службу — я вошел в класс, где мальчики и девочки смотрели на меня не с любопытством, а несколько пугливо. Я оставался верен своим педагогическим принципам: искренность, прежде всего искренность; четкие, обоснованные и осуществимые требования; насколько это возможно, никаких угроз, даже пустых; никаких насмешек; проступки судить непредвзято, больше давать говорить виновному, нежели ему возражать (в основном его проступок настолько явный, что в попытках оправдаться он только больше запутывается в противоречиях и умолкает с осознанием вины, пряча глаза; никогда не быть вероломным; не допускать фамильярности и не потакать ей; в совершенстве знать свой предмет и давать ученикам глубокие знания; наконец, ко всему этому приятный бонус — юмор — не быть роботом!

Вскоре я завоевал уважение, доверие и, наконец, симпатию учеников. Дирекция назначила меня классным руководителем 7 «В»; я вел руководство до выпускных экзаменов, и эти дети остались моей «первой и большой любовью». Я и сегодня время от времени получаю от моих бывших учеников, которые уже стали бабушками и дедушками, проникновенные письма. Иногда они радуют меня, приходя в гости. Я преподавал в старших классах математику, физику, немецкий и астрономию. (В последней дисциплине я был самоучкой, но благодаря настойчивым занятиям я приобрел достаточные знания; в 1990 вышел мой учебник «Астрономия. Учебное пособие на немецком языке для средней школы», который был составлен еще в 1976 году.)

Не обходилось и без курьезов. Совсем как в одной песенке: «Когда-то кто-то где-то приходит, забирает твое маленькое сердечко, и ты счастлив» (напевала, если я не ошибаюсь, некогда неотразимая Вилли Фритч), неожиданно в середине учебного года в Тегульдэт занесло храброго

лейтенанта, и он похитил нашу молодую, хорошенькую учительницу химии. И тут директор, побывав у меня на уроке и увидев, как я пишу на доске формулу H_2SO_4 (по теме «аккумуляторы»), на этом основании смело решил, что я «опытный химик»; в результате я вынужден был преподавать химию в десятом классе. Все мои возражения, мои увещания, что я имею самые смутные представления об этом «дурно пахнущем» предмете, не смогли его переубедить; я был вызван на заседание партийного комитета, где, опираясь на основные принципы марксизма-ленинизма, меня без труда убедили в том, что химию я преподавать могу, следовательно, должен. К счастью, было время зимних каникул, и в течение двух недель я мог подготовиться к предстоящим урокам химии. В дальнейшем я вызубрил материал; закупил учебные пособия и освоил их так хорошо, что мог показывать сложнейшие опыты и решать трудные задачи. Когда через два года меня сменила настоящая учительница химии, я уже откровенно говоря, жалел, что должен уступить ей часы.

К учительскому коллективу я привязался. Это были искренние, честные люди, с которыми у меня быстро сложились хорошие отношения. Только новый директор, который руководил школой в последние годы моего пребывания в ней, умный, способный, но хитрый человек, заставлял меня время от времени чувствовать, что я «такой», нагружая всевозможной культурной работой. Например, кроме всего прочего, мне приходилось в конце учебного года сочинять характеристики о достижениях наших учителей — задача, которая на самом деле находилась в компетенции руководителя педагогического состава; к тому же сложную и бессмысленную писанину никто и никогда не читал. Тем не менее, ежегодно этот ритуал нужно было соблюдать.

С 50-х годов повсеместно в стране студенты и учащиеся старших классов в сентябре были задействованы на полевых работах. Но учебный год всегда начинался 1 сентября, и это было неизменным. Итак, все мы, учителя и дети, в этот праздничный день приходили в школу, с волнением читали транспарант над входом «Добро пожаловать!»; директор произносил торжественную речь, и, сопровождаемые добрыми пожеланиями, мы отправлялись по классам, где знакомились с новым материалом, разбирались с домашними заданиями, а через два дня, на этот раз уже без помпы, отправлялись в колхоз.

Для сопровождения учеников в выезде должны были принимать участие один или два учителя, и каждый раз поневоле это был я. Чаще всего мы копали картошку; мои ученики, деревенские дети, выросшие на сельхозработах, работали быстро и ловко. Насколько наша работа была трудна, настолько же она была необходима. Подчас она напоминала конструирование *regretium mobile*. Однажды нам поручили собрать урожай свеклы. Колхоз, как оазис, располагался посреди болота, и чтобы туда попасть, на некоторых участках дороги приходилось идти по небезопасным бревенчатым плотинам. Мои мальчики и девочки, как олени, прыгали по шатающимся балкам с хихиканьем и улюлюканьем; мне же стоило больших усилий сохранять равновесие на этих наполовину сгнивших, неплотно лежащих друг к другу бревнах. Бригадир указал нам на свекольные поля, отделенные друг от друга болотом. Через три недели работа была выполнена: внушительные кучи кормовой свеклы возвышались длинными рядами на голых полях. «Ну, теперь вы обеспечены на зиму! Так много свеклы!» — сказал я бригадиру, когда мы прощались. Он пренебрежительно махнул рукой. «Как стоит, так вся и сгниет! — проворчал он сердито. — У нас не хватает транспорта, чтобы ее вывезти». «Для чего же вы ее сажаете?» — спросил я в изумлении. «Это стоит в плане, так происходит каждый год...» Гимн плановой экономике!

Когда нынче я оглядываюсь на годы, проведенные в Тегульдете, то они кажутся мне сравнительно лучшим временем из проведенного в ссылке. Это впечатление основано на хороших отношениях с учителями и учениками, среди которых я чувствовал себя человеком. Как руководитель школьного хора я устраивал концерты (какой удивительный слух и хорошие голоса были у деревенских детей!), с группой школьников я инсценировал отрывки из разных пьес. Я наслаждался всеобщим вниманием; только потом я осознал, что жил в изгнании.

Из событий, которые произвели на меня неизгладимое впечатление, я упомяну два. Оба выпали на первый год моего пребывания в Тегульдете. Первое произошло в феврале 1948 года, когда мой хозяин несколько неожиданно вошел в мою комнату. Он был подчеркнуто вежлив, что заставило меня слегка насторожиться. После короткой беседы о том о сем он заговорил о главном. Его друг (говори: «собутыльник», думал я), управляющий товарным складом, попал в затруднительное положение («нажрался», прокомментировал я в уме); во время непредвиденной инвентаризации была обнаружена существенная недостача спирта («пили и обменивали», решил я тотчас); и теперь в отношении него заведено уголовное дело.

Я кивнул, не подозревая, к чему он клонит. Его друг, продолжал Петр Михайлович, получил спирт летом, измеренный в десятках литров. Я прервал его. «Это противоречит правовым нормам; жидкость при условии, что она не может быть доставлена в запечатанных, калиброванных емкостях, должна измеряться по массе, т. е. взвешиваться», — возразил я. «Да, точно, — поддержал он, — но сейчас уже ничего не изменишь». Он замолчал. «Ну и получается, что спирт он взял летом, — продолжил он, — а сейчас зима. Теперь спирт сжался. Не так ли? И вы, грамотный учитель физики, могли бы подсчитать, насколько объем спирта уменьшился при охлаждении его с +30 0С до -30 0С!» Он дал мне данные первоначального объема спирта.

Здесь-то и был заяц в перце! (Дословный перевод, аналог выражения «вот где собака зарыта». — Прим. Е. Ш.) Я был смущен его просьбой; тем не менее, боясь его разозлить, я уступил. «Теперь подпишите это», — сказал он радостно, когда я закончил расчеты. Я сделал это. Что произошло дальше, я узнал только потом. (А случилось следующее: мой хозяин не поленился, пошел с моей бумажкой в школу и попросил доверчивого директора, который не знал предшествующей интриги, заверить мою подпись; после чего он направил «экспертное заключение» в суд.)

Через несколько дней я получил повестку в прокуратуру. Со смешанным чувством, не зная за собой проступков, я вошел в управление. Едва я назвал свое имя, как прокурор зарычал на меня: «Ты занимаешься подпольной деятельностью! Знаешь ли ты, что за это бывает?» Он подал мне мое «экспертное заключение». Я был бледен, как сыр. «Я... я не писал этого. Это его спирт, — заикался я. — Я не знаю имен, сделал только расчеты, насколько уменьшился объем спирта, это написано в учебнике за седьмой класс». «Для чего ты это вычислял?» — давил на меня прокурор. «Мой хозяин попросил меня об этом», — малодушно ответил я. «Сколько он тебе за это заплатил?» — захотел он знать и стукнул кулаком по столу. «Ничего, совсем ничего, — оправдывался я чуть не плача. — Я просто хотел оказать ему услугу». Он еще несколько раз изрядно наорал на меня, а затем отпустил. Спотыкаясь, я вышел счастливый, что так легко отделался. Этот случай стал для меня уроком на всю жизнь: никогда бездумно не ставь свою подпись.

Конец истории был такой: дело «администратора-алкоголика» было приостановлено — и именно по причине «мнения эксперта». Поговаривали, что и следователь спиртом не брезговал. А с тем прокурором мне суждено было встретиться еще раз при обстоятельствах для меня не столь гладких.

Это было в июле 1948 года; я только что отправился в свой первый отпуск в Тегульдете, как вдруг заболел. Ни насморка, ни кашля, никаких других симптомов простуды; ничего не болело; ни тошноты, из-за которой я мог бы сделать вывод, что это расстройство пищеварения, — только высокая температура. «Ну, это даже лучше», — успокаивал я себя. Однако мне становилось все хуже, температура росла. Меня даже начала тряска лихорадка, но при высокой температуре это не такая уж редкость. Потом начался понос. Мой хозяин посоветовал мне отыскать фельдшера: «Добросовестный, опытный человек», — подбадривал он меня. Маленький, худенький, юркий старичок-фельдшер напомнил мне гауфского «стеклянного человечка». Он внимательно выслушал меня, задал пару вопросов, сказал: «Ясно, малярия. Пара порошков хинина поставят тебя на ноги». Я недоверчиво посмотрел на него: нет, этого не может быть. О малярии я имел некоторое представление: лишь три дня возникали приступы озноба — после этого они больше не повторялись; к тому же малярия — болезнь тропиков, и я до этого никогда не слышал, чтобы она встречалась в Сибири. Наконец — совершенно очевидно — между длительным расстройством кишечника и малярией явно не было ничего общего. Да, фельдшер — это все-таки не врач. Ах, какую злую шутку сыграла со мной научно-популярная книга Пауля де Кривса «Охотник за микробами», из которой я черпал свои поверхностные медицинские знания. Прошло еще несколько дней; мне становилось все хуже и хуже; температура 40, понос. «Мне нужен врач», — думал я испуганно.

Перед глазами предстал облик нашего семейного врача в Черновице, которому я безгранично, да что там, просто слепо доверял. В детстве я часто страдал от простуды; когда доктор Красовский с чемоданчиком в руках заходил в мою комнату, глаза у меня загорались; потому что я знал — уж он-то меня вылечит. Было просто здорово, когда он худыми, прохладными пальцами ощупывал мою горячую грудь, когда он добросердечно и уверенно смотрел мне в глаза.

Доктор Красовский был родом из России. В 1917 году он эмигрировал и поселился в Черновице. Он был представителем той старой русской интеллигенции, которой были свойственны высокие чувства, прогрессивный дух и прекрасные манеры истинного благородства

нации. Революция раздавила, искоренила эту интеллигенцию из одной лишь слепой ненависти ко всему высокостоящему, а затем поднялась новая, большевистски ориентированная интеллигенция, которая зачастую была не в состоянии даже грамотно выразиться на своем выразительном и певучем языке, и только ее невежество могло превзойти ее неотесанность. Когда «увели» моего отца, я в своем глубоком отчаянии, ища совета, обратился и к доктору Красовскому. Он всплеснул руками. «У него ведь больные сердце и почки», — сказал он растерянно. По собственному побуждению он написал заключение о состоянии здоровья отца, которое в качестве ходатайства было предъявлено в тюрьму. У доктора Красовского были старомодные представления о морали и справедливости. Тем временем вездесущее, никогда не дремлющее НКВД принялось за русских эмигрантов: они расценивались как предатели и злейшие враги самого лучшего, гуманного, человеколюбивого общественного строя. Доктор Красовский прибег к цианистому калию.

Мой хозяин, в сущности, хороший человек, отвел меня к врачу. Он поддерживал меня, потому что сам я идти уже не мог; по дороге в больницу я несколько раз падал. Врач, которому я пожаловался на свое недомогание, подверг меня допросу: не собирал ли я под кустами грибы и ягоды, не ходил ли гулять в лес, не приносил ли цветы из тайги. (Он подозревал энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое переносится клещами, весьма распространенными в подлеске.) На все вопросы я отвечал «нет». Некоторое время он размышлял, потом осмотрел меня, потом еще раз; наконец, сказал: «В настоящий момент все места заняты, мы разместим тебя в соседней комнате». Мне было все равно; я был рад получить специализированную медицинскую помощь.

В соседней комнате располагалась кладовая, где для меня и поставили кровать. Ночь я провел хорошо; доверие, которое я питал к медицинскому искусству, придало мне мужества и внушило надежду на скорейшее выздоровление. На следующий день, хоть меня ничем и не лечили (за исключением того, что медсестра два раза за день измерила мне температуру), мне стало значительно лучше — болезнь, казалось, отступала сама. У меня появилось афористическое настроение; никогда до этого в ссылке не возникавшее чувство эйфории захватило меня, всевозможные веселые, остроумные идеи приходили мне в голову.

Но на следующий день я снова почувствовал себя несчастным — Боже правый, каким несчастным! Меня лихорадило, силы таяли на глазах. Ночь я провел в беспокойном сне; под утро я, очнувшись от смутной дремоты, не смог пошевелить ногами, они стали ледяными. И тут за мной пришла смерть: она неподвижно встала у кровати в ногах, устремив на меня слепые глаза, кивнула мне. Безумные мысли кружились у меня в голове: что если мне ампутируют ноги ниже колен — они и без того были уже мертвыми, — возможно, став инвалидом, я смог бы остаться в живых.

В эту ночь дежурила главная медсестра (ее сын — немаловажное обстоятельство — был моим учеником); она, по всей видимости, услышала мои стоны, вошла в кладовую, посмотрела на меня. Я попросил ее не оставлять меня одного; страх смерти сковал меня. Мое состояние внушило ей тревогу — я понял это по ее глазам, — и она вызвала двух врачей, которые жили напротив больницы. И вот теперь, в этот критический для меня момент, когда моя жизнь висела на волоске, ученикам эскулапа пришла в голову счастливая фантазия — взять на анализ мою кровь. Выяснилось, что в ней кишмя кишат плазмодии: малярия! Особая форма малярии! Старый фельдшер, очевидно, реликт той самой исчезнувшей русской интеллигенции, был абсолютно прав! Если бы я только послушал его!

Меня сразу же перевели в настоящую больничную палату — многие кровати стояли пустыми. Оказалось, что меня умышленно изолировали в кладовой. После того как мой высокообразованный медик поставил свой первый диагноз — энцефалит, — он предположил брюшной тиф. Теперь я был подвергнут лечению лошадиными дозами в прямом смысле этого слова: мне кололи уколы по 20 (!) мл раствора акрихина⁴⁴, желтоватой жидкости, которая, как я позднее узнал, разрушает нервную систему. (Порошок хинина, очевидно, было жалко тратить на «такого, как я».) Мое состояние улучшилось почти мгновенно. Через несколько дней температура нормализовалась, хоть я и был еще очень слаб. По крайней мере, я мог теперь сам передвигаться и осмотреться кругом. Вот это да! — на одной из кроватей лежал прокурор! Ему вырезали аппендицит, сейчас он уже шел на поправку. Я спал почти все время; мой ослабленный, измученный организм требовал покоя и отдыха. Это был исцеляющий сон без сновидений. Однажды утром — мы только что позавтракали (каша, хлеб, чай) — прокурор осторожно встал, прихрамывая, сделал несколько шагов к двери и включил громкоговоритель. Словно выстрелы, загромычала маршевая музыка, обрушиваясь мне на голову; каждый стук литавр бил меня, как удар дубины. Может, попросить прокурора выключить динамик? Смею ли

я это делать? Просить, не просить? Скрепя сердце, я попросил шепотом, и прокурор снова проковылял к двери, динамик смолк. И прокуроры могут быть людьми!

«Но как вообще громкоговоритель оказался в больничной палате?» — спросите вы. Я и сам задумался над этим вопросом, ведь больница связывалась у меня с представлением о ярко освещенных комнатах, белоснежных занавесках, хромированной стали, почти неслышных шагах медсестер, легким запахом карбола — и над всем этим успокаивающая, благотворная тишина. Возможно, главврач старался внедрить передовые методы лечения и считал правильным инициировать у пациентов положительные эмоции. Для этого громкоговоритель показался ему самым подходящим средством. Центральное радио способствует налаживанию контакта больного с внешним миром, веселит его бодрыми маршами и — что самое главное — позволяет советскому человеку даже на больничной койке через «отчеты» и «последние известия» приобщаться к грандиозным успехам социализма. Причем преимущество радиовещания по сравнению с «живым» выступлением в том, что его громкость можно регулировать: страстные натуры (в основном старые девы со стриженной сединой и сигаретой в зубах; героические марши позволяют обветшалым девам погружаться в свое бурное прошлое) будут включать fortissimo, в то время как поседевшие в почестях партийные функционеры, слегка устав от бесконечных вариаций на одну и ту же тему, приглушат звук до piano или даже до pianissimo.

Через две недели меня выписали с предписанием повторить курс лечения через месяц амбулаторно. Приученный к порядку, я пришел к назначенному сроку в амбулаторию. Медсестра вколола мне 20 мл раствора акрихина и предупредила, чтобы я отдохнул полчаса. Не подозревая о последствиях, я достаточно легкомысленно отнесся к предупреждению медсестры, а она была достаточно безответственна, чтобы не настаивать на своем указании. Два раза все обошлось, но на третий раз... Примерно через 50 шагов я почувствовал такую резкую боль в ноге, что едва мог идти. На месте укола образовалась шишка, температура подскочила до 40, и я снова очутился в больнице.

На этот раз я был сломлен психически. Я пережил голодные годы, от меня оставались только кожа да кости; я был оборван, опустошен, завшивлен. Я стоял на краю могилы, я изо всех сил цеплялся за свою маленькую жизнь, и когда нависала реальная угроза упасть и не подняться, то всегда звучали слова утешения, которые дарили мне хорошие люди. Но эта тяжелейшая малярия что-то сломала во мне: на меня веяло, лишая сил, ледяное дыхание той скелетообразной фигуры — мой внутренний потенциал сопротивления был исчерпан.

В состоянии глубочайшей депрессии я лежал в больнице, когда моего соседа по койке — его кровать стояла рядом — вдруг стало бешено трясти. Об эпилепсии я слышал и раньше, но припадка никогда не видел. Это зрелище ужаснуло меня настолько, что я пережил шок. С неподвижным взглядом и стиснутыми зубами я кругами ходил по палате. Я перестал воспринимать все, что окружало меня. С врачом я разговаривал, едва шевеля губами и запинаясь. Он равнодушно сказал, что пропишет мне успокоительное, отвернулся и тут же забыл про меня и свое обещание. По крайней мере, разговаривал он со мной достаточно доброжелательно. Но в больнице лежало несколько высокопоставленных партийных функционеров, и для «таких, как я» мало что оставалось.

Шок через несколько дней прошел сам по себе, но он оставил свой след: я стал бояться умереть во сне и начал бороться со сном. Так постепенно я лишил себя того глубокого, крепкого сна, который всегда успокаивал меня и в голодное время часто заменял мне ужин. Наконец я смог преодолеть свои страхи, но бессонница осталась. Я начал пить снотворное. Это плохо сказалось на моем здоровье.

Так прошло несколько лет. Я пришел к осознанию, что нужно коренным образом менять образ жизни, чтобы спасти себя от угасания, которое медленно, как болото, затягивало меня в немую глубину. Буквально за неделю до моего сорокалетия я женился на русской учительнице — этот день был и остается счастливейшим днем в моей жизни.

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

Мама, я исполнил твое желание... И на твоей могиле, у твоего креста я клянусь: все, что здесь написано, — это правда... Но иногда эта правда ужасна. Может, было бы лучше стереть все из памяти... Но что же тогда останется? Ложь, только ложь!

Моей Августе, как и мне, пришлось нелегко, притом что ее судьба вовсе не является чем-то исключительным. Это была обычная история. Массовые репрессии, развязанные режимом в 30-е годы, глумление и надругательство над правами человека собственного народа не обошли стороной и родную деревушку Августы в Красноярском крае. Все то, что у Бернарда Шоу в причудливой пьесе «Остров неожиданностей» было игрой необузданного воображения, здесь стало страшной реальностью: простые люди — крестьяне, рабочие, чиновники — бесследно исчезли в одну ночь; они превратились в ничто. Все было спланировано (давеча я, видимо, зря ругал плановую экономику): количество «отобранных» людей было определенным; главными были цифры, а детали не имели значения. (Недавно я прочитал об одном человеке, проживавшем в то время в западной части России. Во время ночной облавы он находился в командировке. Вернувшись домой, он узнал, что его искали. После некоторых раздумий он решил сдаться — спасения не было все равно. Поэтому он простился с женой, детьми, бросил узел через плечо и отправился «туда». На него взглянули равнодушно: «Можешь идти домой, план мы уже выполнили».)

Итак, после того как отец моей Августы, он был кузнецом, и ее старший брат, подмастерье кузнеца, были «отобраны», оставшуюся мать и четверо детей с полутысячью таких же несчастных, согнанных из окрестных деревень, присоединили к сформированной колонне. Под охраной конного конвоя они шли, хромя и спотыкаясь, несколько сот километров в район Тегульдета. С ними обошлись великодушно: у каждой семьи была своя собственная повозка, на которую перемещаемые могли погрузить вещи (одежду, утварь, продукты). Старикам и маленьким детям разрешалось сидеть. Где они спали во время пути? У матери Природы, конечно! Она еще никому не отказывала. Питание? Если был привал, женщины пекли из муки, которую взяли с собой, тонкие лепешки (рецепт смотри в истории исхода евреев из Египта).

Наконец, большинство пришло — некоторые дети и старики в буквальном смысле остались на дороге — в пункт назначения: выжженный участок леса посреди тайги. Ручей петлял по угрюмой местности. Здесь переселенцы должны были познать суть не только выживания, но и корчевания. В качестве жилья вначале им служили хижинки из листьев. Некоторые рыли в земле небольшие пещеры с отверстиями в качестве дымоходов. Для них снова наступил каменный век.

Отец страны заботился о ее детях: откуда-то привозили целые возы сухарей и вываливали прямо на землю под открытым небом; таким вот образом переселенцы получали свой паек. Один из охранников поднимался на эту гряду прямо в сапогах и держал ружье на взводе, чтобы никто не хватал заплесневелые ломти.

На выжженной земле стояли засохшие деревья. Из них подростки под руководством пожилых мужчин («настоящие» были в другом месте) сколотили вполне сносные хижинки, и пока не было дождей, в них было довольно сухо. Из ивовых прутьев и глины женщины слепили очаги и печные трубы. Так они предварительно позаботились о зиме — от холода страдать не придется. Взрослые должны были работать: прокладывать дороги через болота, строить мосты, возделывать землю — за это они получали более крупный паек: от 12 до 16 килограммов муки в месяц, чего-то еще предусмотрено не было. (Воду можно было употреблять в неограниченном количестве.) Потом появились вши, а вместе с ними сыпной тиф. Он унес младшего брата Августы и ее старшую сестру. За недавно вскопанными огородами, недалеко от хижин, расположилось кладбище; оно росло быстрее, чем население. Те, что умирали, и те, что оставались жить, нашли здесь свой путь к Богу. Пришел отец Августы, в ватной, залатанной поддевке и в лаптях; редчайший случай — он был освобожден из лагеря. Старший брат не вернулся уже никогда. Время шло и залечивало раны. Постепенно обживались. Примитивные хижинки снесли и построили простые, но крепкие бревенчатые дома; на возделанной земле росли картошка и другие овощи. Выживать в Сибири невероятно трудно! Тем не менее, можно было говорить об удаче: они были переселены до наступления лета; другие партии ссыльных оставляли зимой в заснеженной тайге — там они и околевали.⁴⁶

Комендант посчитал, что настало время дать поселку имя; он выбрал «Новый труд», что следовало понимать как «работа в новых, социалистических (не в грабительски капиталистических) условиях»: у него явно было хорошо с юмором. Судьба послала мне любимую, добрую жену, и вместе с ней в дом пришли радость, порядок и смех. Прочь ушли уныние и бессонница! Через полтора года на свои сбережения мы купили в деревне маленький домик, срубленный из акации. Внешне он выглядел славно, но когда пришла зима, мы поняли, что нас порядком надули: от внутренних стен отвалился слой штукатурки, и через стыки между бревнами в комнату задувал ветер. Умелый плотник и продавец в одном лице просто размазал

глину по бревнам, не уложив под нее рейки; очевидно, что дом изначально предназначался для продажи.

Моя Августа, которая в свое время в Новом труде как ссыльная смогла набраться опыта в делах обустройства жилья, заткнула, как получилось, все дыры и щели, завесила стены изнутри полотенцами, одеялами, так что казалось, будто мы находимся в палатке кочевников. Тем временем на свет появился наш первенец Юрий, и мы особенно должны были заботиться о тепле, принимая во внимание сибирские морозы. Большую печку Августа топила раз в день, но ночью опять становилось холодно. Мы приобрели себе небольшую железную печурку; растопившись, она раскалялась до красна и распространяла приятное тепло, но через пару часов опять становилось неуютно, поэтому я топил ее по три раза за ночь.

У нас была только одна кровать, на которой спали Августа и наш маленький сынок; я стелил себе постель на полу и, несмотря на частые перебои, спал как сурок. Когда наступило лето, мы сняли старую штукатурку, оббили стены тонкой вагонкой и отштукатурили их заново. И тут к Юрию присоединился братик — Александр. В нашей единственной комнате, которая благодаря преимуществам нашего передового общественного строя была одновременно спальней, детской, столовой и кабинетом, мы смогли спокойно перезимовать. Оказалось, что особенно удачно наша комната подходит под детскую: здесь, где стояли всего одна кровать, стол, два стула и один высокий шкаф, на который мы убрали иголки, ножницы, спички и прочие опасные вещи, нашим детям вполне хватало места для игр.

Сокровенная семейная жизнь творила чудеса: мое здоровье восстановилось. И я бы сохранил свой покой и далее, если бы не одно роковое происшествие, которое выбило меня из колеи. Это случилось в связи с потрясшим мир событием: наш мудрый и любимый вождь, учитель, друг всех рабочих, крестьян и интеллигенции, всех стариков, детей, гениальный мыслитель, вождь мирового пролетариата, военный гений, непогрешимый генералиссимус перешел в марксистское небесное царство. Его преемник Хрущев провел ряд реформ; одна из них касалась школьных дел. Главный лозунг этой реформы был «Связь школы с жизнью», что понималось как «соединение обучения с продуктивной деятельностью».

И вслед за этим пришло соответствующее распоряжение, однако как и с чего начинать, никто не знал. Поэтому в дни летних каникул руководителя преподавательского состава, который должен был во всем разобраться, и меня как учителя, который будет вести этот новый загадочный предмет, послали в служебную командировку в Томск, где в источнике педагогической мудрости, институте усовершенствования учителей, мы должны были быть подробно проинструктированы.

Полный ожиданий, я сидел в лекционном зале института вместе с другими провинциалами, обнажив перо, чтобы конспектировать лекцию о «политехническом образовании». На сцену поднялся дородный мужчина средних лет. «Он будет говорить свободно (без бумажки)!» — с уважением подумал я, не увидев у него в руках конспекта.

Он начал издали. «Слово „политехник“, — просветил нас выступающий, — происходит от греческих слов „полис“ и „техникос“». На этом глубокая теория закончилась, и он начал говорить о практике. «Полагаю, что пила и топор у вас в деревне наверняка имеются, — начал он уверенно. — Ну а гвозди вы уж приобретете, и тогда со школьниками вы могли бы вокруг школы построить забор! Разве это не политехническое занятие?» Он привел еще несколько удачных примеров. «Что дальше?» — спросил я себя. Лектор перешел к новой теме: «Поскольку я инспектор народного образования, то бываю везде. И вот в Напасае — вы знаете, это деревня на Севере — ученица шестого класса произвела на свет здоровенького мальчугана». Наш лектор от души рассмеялся, засунул руки в карманы брюк и что-то еще бормотал в течение часа. За «лекцию» он заработал несколько рублей, они-то и являлись целью семинара.

Потом мы слушали лекцию о диалектическом материализме, доклад о внешнеполитической обстановке и о решениях партийного съезда. Политехника была забыта. Ну, ладно, это можно было пережить; хуже было дело с моим проживанием. Я с пятью слушателями, которые также прибыли в Томск, чтобы понять глубокий смысл лозунга «Связь школы с жизнью», был размещен в школе, в одном из классов, где для нас поставили кровати.

Мои соседи по комнате, молодые учителя из провинции, хорошо проводили время: вечером, придя домой, они пировали от души, не забывая разобрать по косточкам все события дня, курили, рассказывали анекдоты, громко смеялись и горланили до двенадцати часов ночи. Это продолжалось целую неделю. Из-за суматохи, из-за жары, которая царила тогда в Томске,

и, вероятно, также из-за досадного раздражения у меня началась сердечная аритмия. Вернулось прежнее состояние тревоги, отнимавшее сон. И даже дома я уже не смог полностью оправиться от него; если от аритмии (она возникла на нервной почве) я постепенно избавился с помощью физических упражнений, то бессонница стала хронической.

СНОВА В ТОМСК — СПАСЕНИЕ

В 1956 году я был освобожден от комендатуры, но не реабилитирован, т. е. я не мог претендовать на возмещение конфискованного имущества, и мне не разрешалось вернуться в свой родной город: мне было позволено, так сказать, пользоваться привилегиями ссыльного. По крайней мере, я получил настоящий паспорт. Спустя четыре года я с женой и детьми переехал в Томск и 25 лет проработал там учителем в специализированной школе с углубленным изучением немецкого языка (в промежутке с 1963 по 1970-й год преподавал немецкий язык в университете) и руководил школьным кружком немецкой поэзии и музыки (с 1970 по 1985-й).

Минула четверть века; день за днем я давал уроки, составлял учебные планы, дежурил в школьном гардеробе, чтобы милые детишки не воровали друг у друга; сидел на «открытых» партийных собраниях, на которых присутствие беспартийных, как нам тактично разъяснили, было «желательно», на профсоюзных собраниях, на педагогических советах — везде месили одно и то же тесто. Я бойко маршировал в демонстрационных колоннах во время великих майских и ноябрьских праздничных дней, для разнообразия был добровольный труд в школе или в колхозе. Я стоял в очереди у прилавков магазинов: это были серые советские будни. Конечно же, в школе знали о моем прошлом вынужденного переселенца — время от времени я сталкивался с пренебрежением, то и дело испытывая унижение. Но это уже были пустяки для «такого, как я».

Большевики... Они отняли у меня все: родителей, молодость, любовь, имущество, родину; они отняли бы у меня и язык — если бы смогли.

Эра Горбачева привела к благоприятным изменениям политического климата, а также к умеренной демократизации страны. В 1993 году Августа и я были реабилитированы; в качестве компенсации за конфискованное в свое время имущество я даже получил 77 800 рублей (в пересчете целых 56 немецких марок!). Уже в 1991 году мы подали заявление в консультативный отдел посольства в Москве о виде на жительство в ФРГ. Последовали месяцы и годы мучительного ожидания и надежд. Как горячи были мои молитвы, которые я посылал Богу в бессонные ночи! Как я ждал этого дня избавления! Как мечтал пересечь советскую границу, когда... ну когда же!.. Как моя фантазия рисовала наше будущее в Германии, когда... ну когда же!.. Когда же я вдохну сладкий воздух свободы, когда... ну когда же!..

Давным-давно, когда я был мальчиком, мне подарили книгу под названием «Вселенная», она содержала всевозможные научные факты, занимательные подробности и множество иллюстраций — развлекательная мешанина. Ее содержание давно стерлось из моей памяти — но сейчас вдруг, словно вспышка из глубин моего подсознания, всплыла одна иллюстрация из этой книги: картина Морица Швинда «Мечта узника»: голая камера, через высоко расположенное окно в мрачную комнату падает косо пучок солнечных лучей. Пленник поднимает полные тоски глаза к окну, где за толстыми стенами — солнце и свобода. Вряд ли я тогда обращал внимание на эту картину — природа не одарила меня интересом к изобразительному искусству, — но теперь я увидел ее четко, резко, в деталях. Заключенный! Я идентифицировал себя с ним: он (я) был там, на той затонувшей в глубинах моей памяти картине, которая со всей отчетливостью всплывала теперь передо мной.

Настал день, принесший мне спасение после долгих-долгих пятидесяти трех лет, в течение которых мне пришлось страдать в Сибири. Мы получили вид на жительство! 10 августа 1994 года останется незабываемым днем! Наш самолет сел в берлинском аэропорту Шенфельд. Ступив на немецкую землю, я припал к ней, слезы навернулись мне на глаза, и я бормотал: «Здесь я человек! Здесь я могу им быть!»

Я был 27-летним, жизнерадостным, полным великих планов на будущее, когда большевистское несчастье обрушилось на нас. Бессильным 81-летним стариком я вернулся в Европу.

Свой родной город Черновиц я так никогда и не увидел.

ЭПИЛОГ

Власть порождает зло.

Абсолютная власть порождает абсолютное зло

Лорд Джон Актон

Тягчайшее преступление большевистского режима состоит в том, что он лишает человека его достоинства и души в нем божественную искру.

Сталинский неологизм «винтики»⁴⁷ (газетные корреспонденты и литераторы немедленно подбострастно его подхватили) для обозначения всех тех, кто в тылу — на заводах, на колхозных полях — неумоимо, без отдыха боролся за победу в Великой Отечественной войне, таит в себе страшную правду, которую вольно или невольно раскрывал при каждом тосте по случаю праздника Победы приветливо настроенный генералиссимус: то, что эти большевистски обработанные люди-роботы были абсолютно неодушевленные — как винты: серые, одинаковые, безвольные и механически послушные.

В 1940–1941 годах и после 1945-го поступил новый человеческий материал. Потоки шли из Польши, Бессарабии, Буковины и Балтики. Физические свойства этого материала оказались довольно хрупкими: перерабатывать, вымешивать и вылепливать по образцу «винтиков» — задача, с которой опытное НКВД прекрасно справлялось. Правда, нельзя было избежать некоторых издержек при такой обработке, и Карлаг, и Сиблаг, и другие лагеря заполнялись заново. Мелочность не приветствовалась: лучше схватить слишком много тварей, чем слишком мало. Действовал главный принцип НКВД: «Был бы человек, а статья найдется».

Те, что остались после зачисток, — их было немного — это были сломленные, униженные, подавленные, душой и телом искореженные существа, для которых обозначение «человек» могло применяться лишь условно. В драме М. Горького «На дне» один из героев произносит ставшие крылатыми слова: «Человеак — это звучит гордо!» Афоризм, который для меня — того, кто помечен двойной меткой, как ссыльный и как еврей, — звучит словно насмешка.

Великий человек, который добился того, что разум, честь, достоинство, свобода и любовь превратились в свои противоположности, был канонизирован еще при жизни. Его портрет красовался в те годы повсюду: в детских садах, школах, офисах, колхозных конторах, в суде и в лагерях. Большой человек был изображен в основном в полупрофиль; хитрая улыбка и искусная ретушь скрывали хищное выражение, рябое лицо с маленькими турецкими глазками смягчалось густыми бровями — мне всегда казалось, будто я видел оскал тигра.

Страх перед ним (с содроганием я произношу его имя) и перед НКВД⁴⁸, мертвый, удушающий страх ссыльного и еврея и сейчас сидит в моих конечностях, как сибирский мороз, я не могу выдержать сверлящего взгляда милиционера или даже простого прохожего. Заколдованные черные воды Васюгана отняли у меня человеческую гордость, и я малодушно опускаю глаза.

Во всем мире ученые, занимающиеся историей Советского Союза, изучают партийные документы, архивные материалы, протоколы; глубоко оценивают статистические данные, свидетельства, воспоминания; они анализируют феномен большевизма, ищут причины его возникновения, обсуждая сопутствующие события, и очерчивают, прогнозируя, перспективы его возможного развития. Снимаю шляпу перед учеными мужьями. Я не смею с ними соперничать. Единственное мое преимущество перед ними — в чем мне, конечно, не позавидуешь — это более чем пятидесятилетняя практика в Сибири. На основании опыта, накопить который у меня было достаточно времени, я пришел к выводу, что непредсказуемые, часто непонятные западному миру действия большевиков можно понять, если исходить всего из двух аксиом:

Все, что они говорят, — ложь!

Нет ни одной подлости, на которую они не были бы способны!

В этом короткий смысл длинных речей.

Videant consules...!⁴⁹

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В честь русинского борца за свободу О. С. Довбуша (XVIII в.).

2. Лея — румынская денежная единица.

3. «Обозначение „швабский“ само по себе применяется к немецким поселениям XVIII и XIX веков в юго-западной и западной Европе и является типичным обозначением поселений колонистов того времени, при этом не в каждом случае это было поселение швабов или носителей швабского диалекта...» Краткая энциклопедия немецкого языка, под ред. Е. Агрикола, Ляйпциг, 1996.

4. Старинная, когда-то широко использовавшаяся мера емкости; одна ока приблизительно равняется 1,3 литра.

5. Цит. из книги Мартина Полака «После Галиции», Вена, 1984, с. 144. См. также «Черновиц на Пруте, столица Буковины» проф. Е. Турчинского в книге «Голос. Послание Буковине», Тель-Авив, 2001, с. 1–6.

6. В честь румынского писателя и политика (XIX в.).

7. «König-Ferdinand-Straße»

8. Читателям, которые хотят об этих обстоятельствах получить больше представления, я бы порекомендовал комедию румынского писателя И. Л. Караджале (1852–1912) «Потерянное любовное письмо» — на мой взгляд, один из лучших образцов мировой литературы.

9. Цит. проф. Турчинского из книги «Голос. Послание Буковине». Тель-Авив, 2001, с. 3.

10. Национальная крестьянская партия.

11. Названа в честь князя И. А. Куза, который в 1859 году объединил Молдавию и Валахию.

12. Почти полный словарь этих выражений жаждущий знаний читатель найдет в автобиографической повести «Это я, Эдичка» современного российского писателя Эдуарда Лимонова. Немецкий перевод был опубликован под общедоступным названием «Fuck off, America».

13. «Realgymnasium № 2» (рум.).

14. Это нападение было согласовано в пункте 2 секретного протокола («дополнительный протокол») пакта Сталина–Гитлера от 23 августа 1939 года. С невероятным цинизмом, нагло бросающим вызов народам на право самоопределения, комментировал оккупацию Польши министр внешней политики Молотов на пятой внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года: «Правящие круги Польши часто и громогласно хвастались „стабильностью“ их положения и „силой“ своей армии. Однако хватило лишь двух быстро проведенных ударов, сначала немецкого Вермахта, а затем Красной Армии... и ничего не осталось от этого неприглядного продукта Версальского договора... Всякому очевидно, что о воскрешении былой Польши не может быть и речи. Было бы абсурдом продолжать нынешнюю войну под лозунгом восстановления прежнего польского государства...» Цит. по: Джо Ш. Кирхбергер «Свидетельства тех времен», Мюнхен/Цюрих, 1983, с. 809.

До 1989 года СССР упрямо опровергал существование компрометирующего секретного протокола. В своей речи по случаю 70-летней годовщины Октябрьской революции Михаил Сергеевич Горбачев сказал: «Сегодня на Западе активно обсуждается ситуация довоенного времени. Правда смешивается с полуправдой... При этом ложь о том, что пакт Молотова–Риббентропа якобы расчистил дорогу войне, пытаются выдать за правду и тем самым свалить на СССР вину за Вторую мировую войну». Цит. по: М. Горбачев «Перестройка», Мюнхен, 1987, с. 57.

Под напором неоспоримых доказательств, выдвинутых Западом, правительство Советского Союза, в конце концов, вынуждено было дать разъяснения. Член Академии наук Дмитрий Лихачев, принявший участие в расследовании, пришел к выводу, что оригинала

дополнительного договора не существует, а есть лишь его копия; однако, раз есть копия, значит, должен существовать и оригинал.

Не исключено, что после войны тот зловещий документ был уничтожен Сталиным или его преемниками, для того чтобы любой упрек можно было парировать аргументом «не существует».

15. Область между Прутом и Днестром; оккупация Бессарабии была предусмотрена пунктом № 3 секретного протокола.

16. Аннексия этого региона — грубое нарушение международного права, ибо Буковина никогда не была частью Российской империи («Das Schwarzbuch des Kommunismus», Мюнхен/Цюрих, 1998, с. 237) — со стороны союзников был выдвинут протест. Почти год спустя несколько мощных, не предусмотренных даже секретным протоколом акций Советского Союза послужили Гитлеру одним из предлогов, чтобы наброситься на своего партнера по соглашению: «Уже оккупация Северной Буковины является нарушением этого соглашения» (из выступления Гитлера «Солдаты Восточного фронта», цит. по: «Европейская война», Висбаден, 1963, т. 1, с. 374).

17. Цит. по: О. Брусатти, К. Линг «Apropos Czernowitz», Вена/Кельн/Ваймар, 1999, с. 114. Авторы дают наглядную картину упадка некогда процветающего города, бывшей «маленькой Вены» Старой Австрии.

18. Впоследствии я наткнулся на подобный ход мысли у Александра Солженицына в книге «Архипелаг ГУЛАГ», Берн, 1974, т. 1, с. 476.

19. В 1990 году прокуратура Черновцов на мой запрос ответила, что отец был реабилитирован. В свое время он был осужден «внесудебными инстанциями» (в том числе так называемым специальным Комитетом НКВД) за «контрреволюционные преступления».

20. Цифры взяты из «Neue Zürcher Zeitung», 11/12 июля 1998 г.

21. «Вас-юган» — река мамонтов (ханты).

22. «Начиная с того лета деревне год от года требовалось все более невероятное напряжение сил для безвозмездной сдачи урожая». А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», Берн, 1974, т. 1, с. 43.

23. В свидетельстве о смерти моей матери, умершей от голода в возрасте 61 года, в качестве причины смерти названа «старческая немощность».

24. «В большевистской системе рабочий класс считается более передовым, в то время как крестьяне по-прежнему находятся под влиянием пережитков прошлого» («Краткий философский словарь» под ред. Росенталя, Юдиной, Москва, 1952, с. 193).

25. Я не уверен, что это четверостишие Перлштайна не является интеллектуальной собственностью.

26. Пороховая башня, чей фундамент был заложен в 1475 году, сейчас находится в самом центре Праги — в Старом городе. Она служила — отсюда и название — до конца XVII века в качестве порохового склада. Через 400 лет после основания башни архитектор Йозеф Мокер предпринял попытку восстановить ее в стиле неоготики <...> И теперь верхняя галерея перенесена под растянутую шатром крышу». Цит. по: Д. Аренс «Прага. Искусство, культура и история „Золотого Города“», Кельн, 1991, с. 273.

27. Город в Румынии.

28. В честь председателя ЧК (тайная полиция) Феликса Э. Дзержинского (1877–1926).

29. Древние предания, летописи, исследования, а также путешественники (XVIII в.) называли реку Томой (а не Томью).

30. Цит. по: Р. Р. Федоров «Куда идет Россия?», Бонн, 1993, с. 51.

31. Цит. по: А. К. Тимирязев «Очерки по истории физики в России», Москва, 1949, с. 301.

32. См. «Краткий философский словарь» под редакцией Розенталя и Юдина, Москва, 1952, с. 193.
33. Цит. по: В. Секерин «Теория относительности — мистификация века», Новосибирск, 1991, с. 42.
34. См. «Краткий философский словарь» под редакцией Розенталя и Юдина, Москва, 1952, с. 193, с. 284. Кавычки для «гороха» приобретают особое значение: в русских идиоматических выражениях <...> атрибут «горох», соответствующий немецкому определению слова «горох», — один из видов унижительной оценки: «шут гороховый», «чучело гороховое».
35. Цит. по: «Энциклопедический словарь юного натуралиста», Москва, 1981, а также «Популярная медицинская энциклопедия», Москва, 1979.
36. Цит. по: «Энциклопедический словарь юного натуралиста», Москва, 1981.
37. Цит. по: «Краткий словарь иностранных слов» под ред. И. В. Лешина и проф. Ф. Н. Петрова, Москва, 1950. Подробно о жизни Мичурина и Лысенко, а также об их «научной» деятельности можно прочитать в книге А. Буллока «Гитлер и Сталин — жизненные параллели», Берлин, 1999.
38. А. С. Макаренко, советский воспитатель и писатель (умер в 1939).
39. Имя этого юноши называется Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ», Берн, 1974, т. 2, с. 443. Только место, где П. отбывал срок, указано неверно.
40. Совпадение со словами сотника из Капернаума (Матфей 8,9) является случайным. И поскольку послушание солдат было элементом служения порядку, они подчинялись охотно. Мы же, ссыльные, должны были кланяться слепому произволу дьявольского режима .
41. Цит. по: «Черная книга коммунизма», Мюнхен/Цюрих, 1998, с. 271. А также: М. Морозов «Грузия. Путь и правление Сталина», Мюнхен/Вена, 1980, с. 291.
42. Цит. по: Л. Эндер «Рассказы о врачах», Москва, 2001, с. 76. А также: М. Морозов «Грузия. Путь и правление Сталина», Мюнхен/Вена, 1980, с. 301.
43. По воде дорога на Асино делала большой крюк (Томь–Обь–Чулым).
44. Синтетическое советское противомалерийное лекарство.
45. Ефросинья Кереновская родилась в Бессарабии, маленькой девочкой в 1941 году была депортирована в Сибирь: 20 лет ссылки, затем 12 лет лагерей. Выдержки из ее «Воспоминаний» (они содержат 1500 машинописных листов и 685 цветных рисунков) были напечатаны в журнале «Огонек», 1990, № 3 и 4.
46. «Трудно поверить в такую жестокость: что кто-то может сказать зимним вечером в тайге — вы остаетесь здесь!». А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ», т. 3, с. 362.
47. А. Буллок «Гитлер и Сталин — жизненные параллели», Берлин, 1999, с. 1192.
48. Чтобы уклониться от всеобщей ненависти и ужаса при ее появлении, эта гидра уже пять раз сбрасывала кожу и, соответственно, принимала другое имя: ЧК, НКВД, МГБ, КГБ. Сейчас ее имя — ФСБ.
49. Videant consules, ne quid detrimenti respublica capiat. Консулы, будьте бдительны, чтобы государству не был нанесен ущерб (лат.). Эти слова римский сенат в критические периоды адресовал консулам. И в настоящее время этот призыв до сих пор актуален.